

Склейки

Автор:

Наталья Лебедева

Склейки

Наталья Лебедева

Пестрые будни не самого крупного телеканала. Недавно сюда устроилась на работу только что закончившая институт журналистка Оксана. Съёмки и эфиры, нищие старики и зарвавшиеся чиновники, страшное и смешное склеиваются для нее в непрерывный причудливый видеоряд. Рабочие сюжеты переплелись с любовными коллизиями, страстями, интригами и изменами, которыми изобилует жизнь канала. А тут еще убивают ее коллегу, ведущего и редактора новостей. Может ли убийство преследовать политические цели, или тут кроются какие-то личные причины? Кому все-таки мог помешать не самый крупный чин на ТВ?

Наталья Лебедева

Склейки

Все обстоятельства и персонажи вымышленные, любые совпадения – случайность.

25 ноября, пятница

Раннее утро. Спускаю босые ноги на пол – холодно. На цыпочках, поджимая озябшие пальцы, крадусь по прихожей в комнату в поисках тапок. Нахожу один. Вторую, голую, ногу хочется поднять и прыгать на той, что в тапке, но нельзя,

все спят: и мама, и папа, и бабушка.

Вода из крана холодная. Умываюсь, покачиваясь от того, что еще не проснулась и стою на одной ноге. Позавтракать не успеваю: опаздываю.

На улице тоже холодно. Конец ноября, легкая метель, колющие снежинки царапают лицо, глаза закрываются: ветер, и хочется спать. Небо белое от снежных туч, а в городе – сумрак, и снежинки кажутся черными, когда поднимаешь глаза.

Маршрутка вспыхивает неприветливым огнем. Я сажусь в нее, и снова все серо. Здесь еще холоднее, чем снаружи. Белые стойки меж заросшими инеем окнами – словно свисающие с крыши сосульки. Кутаюсь в теплую куртку. Кроме меня в салоне никого. Водитель, принимая плату, смотрит на меня замерзшими глазами и поворачивается к плывущему навстречу городу. Его рука, тяжелая и коричневая, ложится на руль единственным теплым пятном.

Гляжу на эту руку, стараясь согреться. Куртка не помогает, мягкий пушистый мех воротника касается щеки шелковистой прохладой. Я думаю о деньгах: четыреста рублей, двойной тариф за утреннюю съемку. Это хорошо. Сначала мы поедем далеко за город на Дядь-Пашиной машине, и Дядь-Паша включит печку. Он сейчас, наверное, уже на работе, и машина его, теплая, несуразная, вязко-розового цвета, встретит меня у подъезда.

Потом будет коровник: новый, перевязанный ленточкой, розовой, как Дядь-Пашина машина. Губернатор разрежет ленточку быстро, и мы войдем внутрь, в парное молочное тепло. В новом коровнике не пахнет навозом, там нет липкой грязи и темного дерева. Там меж рядами скучающих коров проложены бетонные дорожки, свет под высоким потолком ярок, и губернатор, щелкая щегольскими ботинками, станет заглядывать в большие карие глаза и делать вид, что хочет погладить эти бурые и черно-белые лбы... Потом будут огромные аппараты до потолка и скопища труб алюминиевого цвета: сепарация, пастеризация, стерилизация; и возле последней трубы – поднос со стаканами снежно-белого молока. Снег снаружи уже не покажется мне злым.

Я вернусь в офис, напьюсь горячего чая, съезжу на вторую съемку, потом неторопливо напишу оба текста...

– На остановке, – говорю я водителю. Он высаживает меня словно нехотя. Маршрутка пуста, и жизнь его без меня лишается смысла.

Через дорогу – красный кирпич офиса. Над выпуклыми буквами нашего названия в чьем-то кабинете горит свет. Я не успеваю разглядеть, в чьем: снег летит мне в глаза.

Огибаю здание, вхожу во двор. Метель становится сильнее, но розовый бок Дядь-Пашиной машины приветливо сияет сквозь серо-молочную одежду из снега. Дядь-Паша выныривает из метели мне навстречу. Его густые висячие усы обросли сосульками, куртка распахнута, песочно-желтый свитер туго обтягивает круглый живот. В его руках – жесткая щетка; Дядь-Паша меланхоличен и способен счищать с машины снег часами. Крохотные льдинки, тая, сползают вниз по лобовому стеклу. «В машине – тепло», – думаю я.

– Привет! – говорит Дядь-Паша и проводит щеткой по крыше машины. – Пришла?

– Здравсьте! Ага, – соглашаюсь я. – А Дима?

– Там, наверху, тебя ждет.

– Ага, сейчас придем. – Я шмыгаю носом: совсем замерзла.

– Куда едем?

Этот вопрос волнует меня, потому что я не уверена, сумеем ли мы найти затерянный в районе коровник. Я роюсь в сумке, нахожу мятый листок бумаги, на который вчера второпях записывала маршрут, и читаю:

– Так. Мне Ольга из пресс-службы сказала, что надо по окружной доехать до Покровки, потом свернуть направо, на следующей развилке – налево, выехать в поле, мимо казацкой церкви, через деревню Николино, и вот там уже – совхоз и коровник... Дядь-Паш, я не знаю, где это...

– Да ладно, я уже понял... – Дядь-Паша горделиво отворачивается, продолжая сметать снег, и я понимаю, что он и в самом деле знает, где искать коровник. Он – человек-карта. Не представляю, как ему это удастся, и потому дома

рассказываю о Дядь-Паше с восторженным придыханием.

Желая, чтобы и он восхитился мной, я говорю:

– А меня сегодня берут!

– Куда?

– Сюда, на работу.

– А ты что ж, не работала?

– Так я же на испытательном сроке была, Дядь-Паш! Мне сегодня Виталь обещал заявление подписать!

– Ну... Хорошо...

Он больше ничего не говорит, и я поднимаюсь на низенькое, всего в одну ступеньку, крыльцо. На нем – обломки огромной сосульки. Едва не падаю, споткнувшись о них, и задираю голову посмотреть, откуда она упала, но надо мной только балкон второго этажа.

Охранник едва бросает на меня взгляд; поднимаюсь по лестнице мимо чужих офисов на свой этаж. Кабинет «Новостей» открыт, на столе лежит микрофон с аккуратно смотанным шнуром, рядом – ключ с зеленой биркой, но Димы нет. Вешаю сумку на вешалку в углу, беру из стола блокнот и ручку, привычным движением прижимаю к себе микрофон, запираю кабинет и иду искать оператора.

Он может быть где угодно: у себя в операторской на третьем этаже, на радио у диджеев, в туалете, в конце концов... Но я решаю посмотреть сначала в студии: там мужчины сидят чаще всего – конечно, когда нет эфира.

Заворачиваю за угол: здесь пугающе темно. Вздрагиваю и с опозданием понимаю, что сегодня профилактика, и «Утра» не было. Однако дверь почему-то открыта. «Забыли запереть? Или Дима все-таки здесь?» – думаю я. Но в предбаннике темно, и сама студия угольно-черна, только поблескивает справа

стекло аквариума, в котором сидят видеоинженеры.

Собираюсь выходить, и тут нога наступает на что-то твердое. Это твердое хрустит и рассыпается... делаю шаг назад. В тусклом свете, падающем в коридор из-за угла, вижу расколовшийся фильтр от объектива. Мне становится нехорошо: я представляю себе размеры скандала, если кто-то вдруг бросил такую дорогую штуку на полу. Жалко операторов. Они столько раз меня выручали за те полгода, что я с ними работаю, и Димка даже брал за меня интервью, когда я поначалу совсем растерялась.

Снова захожу в студию. Рука тянется к выключателю: щелк – и я жмурюсь.

Открываю глаза: черная нога штатива задрана вверх, закрепленная на нем камера лежит на полу. Чуть поодаль – темное пятнышко, вроде как кусок пластмассы. Две вещи меня страшно удивляют: неужели пластмасса камеры так хрупка, что от нее откололся кусок, а еще – почему камера не падает набок, а торчит аккумуляторами вверх и чуть в сторону?

Кручу в голове эти вопросы, пока не приходится признать: я вижу не только камеру.

Серые брюки, руки, сложенные за спиной, край серого свитера. И – то, на что опирается камера: голова. С трудом поборов себя, признаю, что черное на сером ковролине не пластмасса, а запекшаяся кровь, и вот тут начинаю кричать...

Сижу. Тяжелая зимняя куртка не давит на плечи. Локоть все еще прижат к телу, но микрофона под ним нет, и блокнот исчез из руки. Кто-то разговаривает, и печально кивают головами черно-белые умноглазые коровы.

Время идет. Кромешная тьма. В ней – два мужских голоса, они плавают во тьме, как уродливые глубоководные рыбы. Один голос густой и круглый, другой слегка подвизгивает, и, когда я слышу высокие нотки, мне представляется маячок, вспыхивающий на длинном отростке рыбы-удильщика.

– Сколько она весит? Килограммов четырнадцать?

– Бетакам?[1 - Бетакам, бета, эспишка – жаргонное название форматов профессиональных видеокамер ВЕТАСАМ, ВЕТАСАМ SP.] Нет. Старые так весили. Помнишь – с огромной задницей? А эспишка около десяти. Двенадцать максимум.

– А куда попало?

– Объективом прямо по шее. Говорят, позвоночник сразу... А крови немного: говорят, сразу того...

Поднимаю голову. Оказывается, я спала, сложив руки на столе, и щека онемела от того, что под ней был край клавиатуры. В кабинете никого – так мне сначала кажется. А потом перед глазами возникает узкий зад в кожаных черных штанах. Зад поворачивается, и в поле моего зрения wpłyвает серый свитер с вырезом буквой V. В нем – две мощные груди с глубокой складкой посередине. Держась взглядом за три золотые цепочки, подтягиваюсь, зацепившись, как альпинист за уступ, за острый клин подбородка, вверх, вверх, к лицу: Данка.

– Ты как? – спрашивает она.

– Нормально? – Я отвечаю вопросом на вопрос, но она никогда не слышит интонаций, только слова.

– Давай-ка попей чаю, а потом – вот. – У меня перед носом бьется, позвякивая в прозрачной коробке, маленький прямоугольник кассеты.

– Что? – спрашиваю я.

– Коровник. Пресс-служба привезла. Тут, – мне на колени падает, шурша, лист с распечаткой, – вся информация по коровнику: что, почему, зачем. Андрюха сказал, что записал интервью: с губернатором, с директором, еще там с кем-то... Глянешь сама, ладно? А то ты же знаешь, как Андрюха берет интервью... – Данка нервно смеется.

– Дан, – я даже не пытаюсь вникнуть, мне плохо, – я пойду домой. Сейчас у Эдика отпрошусь и пойду. Я не в состоянии... про коровник.

– У Эдика? – Данка растеряна. – Так Эдик же умер.

– И Эдик тоже? – Снова волнами подкатывает темнота.

– Как – тоже? Это он и умер. Это ты его нашла.

– Эдика?

Голова пуста. В ней только ноги в черных брюках и кусок пластмассы на сером ковролине.

– А кто вместо Эдика? – Стыдно признаться, но кажется, чужая смерть меня не волнует. Хочется узнать, кто редактор, отпроситься и уйти домой, спать.

– Я.

– Дан, отпусти меня, мне как-то нехорошо...

– Да ты что?! – Данка стоит руки в боки и фыркает: вот кого надо рисовать в букварях на букву «Ф». – Ты меня без ножа режешь! – Она отнимает ладони от талии и загибает пальцы. Кольца, надетые на каждый из них, даже на большой, описывают плавные дуги. – Анята в командировке, Лиза заболела скоропостижно, у Надьки – три сюжета и устная, я – редактором. А выпуск наполнять надо. Я и так Эдика делаю. Ты что, хочешь оставить нас вдвоем? Ксюх, ну пожалуйста, ну возьми себя в руки... – Она умоляюще складывает пальцы, длинные ногти с легким цоканьем касаются друг друга.

– Эдика делаешь? – Я понимаю, что от Данки не уйти, она, как лиса, вертит своим рыжим высоким хвостом, суетливо поводит острой мордочкой, и все, что мне остается, это как можно скорее разобраться в происходящем.

– Да. Слушай! Пока операторы все тут – расскажи, как это было. А то мне скоро Димку рекламе отдавать. Рылова просила на досъемку.

Как это было...

– О-ой! – Роняю руки на колени, опускаю голову, и кудряшки лезут в глаза, липнут к намокшим от слез щекам. – Дан! Я так испугалась!

Мне хочется, чтобы она меня пожалела. Но Данка уже в дверях.

– Стой, не рассказывай! – кричит она. – Я сейчас сбегаю за Димасиком.

Выставлена камера. Перед моим лицом появился и исчез лист белой бумаги: это неприятно. И как только терпят те, у кого мы берем интервью? Димка шарит у меня за пазухой, пропуская под блузкой провод от петли.[2 - Петля – жаргонное название петлички, маленького микрофона, который крепится на одежду.] Это неприятно, но я терплю, потому что пальцы мои как два батона: я не могу взять ими крохотный микрофон, он все время выскальзывает и падает.

И вот я готова плакать на камеру. Но слез нет, и Данка разочарованно качает головой: ей хотелось бы, чтобы я тряслась и рыдала, а момент упущен. Я рассказываю связно и подробно. В голове ровно пощелкивает секундомер.

– Сколько наговорила? – спрашиваю я, когда Димка идет меня отстегивать. – Три двадцать?

– Ага, – подтверждает он, заглянув в видеоискатель.

– Выберешь там сама из трех синхрон,[3 - Синхрон – отрывок записанного на камеру интервью, который потом войдет в сюжет.] – говорю я Данке. – Там должно быть два по пятнадцать секунд, и один – около десяти.

Она кивает:

– Я все возьму. Нормально сказала. Да и все равно никого больше нет, менты говорить отказались.

– А они были?

– Конечно.

– И что?

– Им хочется, чтобы это был несчастный случай.

– А тебе не хочется?

– Мне, – в голосе Данки злость, – хочется собрать выпуск. Так что иди поработай.

Коровы. Бурые, черно-белые. Бетонные дорожки, щегольские ботинки. Высокие аппараты, похожие на огромные осиные гнезда. Трубы – светлые, металлические. Много труб. Улыбчивая девушка предлагает всем попробовать молока: подносы уставлены красивыми стаканами. Интервью – дерьмо, сразу видно, что брал Андрюха. Ничего нового. Полгода в новостях, а уже знаю – что-то по-настоящему новое происходит редко. Ужас.

Смотрю на экран компьютера, режу видеоряд на аккуратные, по три секунды, куски, отсекаю от синхронизации все ненужное; даю губернатору произнести всего две фразы, и пусть меня потом убьют. Набиваю титры. Начинаю чувствовать себя – собой, спасибо Данке. Хорошо, что я не пошла домой.

Пишу текст. Сначала выходит стандартный бред: «Новый коровник открылся сегодня в районе». Дальше – про головы скота и литры молока и, конечно, про губернатора, который важнее голов и литров. Становится тошно. Переписываю. Говорю о том, что коровам не будет холодно зимой, что их новый дом чист и светел. Убегают из текста литры, а головы скота становятся очаровательными коровьими мордами. Выбираю кадры под статью: карий глаз в пушистых ресницах, узкая морда с широкой губой, красиво изогнутая шея. Белое-белое молоко в стаканах. Губернатора у меня почти нет. Ну не убьют же меня за это? Вот он на среднем плане перерезает ленточку, розовую, но не такую яркую, как Дядь-Пашина машина, вот десять секунд рассказывает, как все это здорово. Жаль, не взять интервью у коровы – было бы интереснее.

Текст готов, я встаю забрать распечатку и отнести ее в студию, чтобы набить подводку[4 - Подводка – часть текста, которую ведущий произносит перед сюжетом.] в компьютер ведущего.

И тут вдруг понимаю, что в студии – кровь, а ведущего нет. И только компьютер остался.

– Дан!

– Да? – Она уже в монтажке. Монтажка втиснута в наш кабинет, как спасательная капсула. Ее дверь прямо за редакторским столом. Я боюсь туда идти: знаю, какие кадры там монтируют. Интересно, кто из операторов снимал? Спрошу потом.

– Дан, а куда вбивать подводки? Идти в студию?

– Да ты что, мать, сдурела – в студию? Набивай здесь.

Я иду к тому компьютеру, что подключен в сеть, и на самом деле вижу открытый документ с подводками.

– Дан! – кричу я, оборачиваясь. – И на суфлер будем кидать отсюда?

Она, крутя в пальцах тонкую сигаретку, появляется в дверях монтажки:

– Какой суфлер? Эфириться не будем, пойдем в записи. Поставим синий фон в директорском кабинете, Леха подложит задник на компьютере.

– А кто ведет?

– Аришка поехала причесываться. Ее на радио с эфира сняли – по высочайшему... – Данка поднимает вверх короткий палец с длинным ногтем. Золотое кольцо на нем многозначительно вспыхивает. – Пойду, – говорит она, лениво потягиваясь, – покурю с начальством. Может, узнаю что-нибудь. А ты иди, клей коровник, а потом домой. Иди! А то приедет Надюха с тремя сюжетами...

Выхожу из монтажки в кабинет. Никого... В голове звон, в теле – пустота, поролон вместо внутренностей. Всегда так, когда много работы.

Три часа дня, а я уже очень устала, и это странно. Кажется, будто я сделала несколько выпусков одна.

И вдруг в коридоре – шум: голоса, повышенные едва ли не до крика. Лягушонка в коробчонке – Надька. Голос ее приближается, подобно взрывной волне, накрывает меня с головой, заставляет тереть поролоновый висок. Данка гавкает на нее, как Моська на слона:

– Где вы были? Я жду, жду...

– В кулинарии! – Я словно вижу сквозь стену, как Надька шагает и отвечает: быстро, резко, не поворачивая головы; как полы шубы развеваются у нее за спиной. И, наверное, ее рука с салатами в пакетиках взмывает в воздух, и морская капуста долю секунды колышется у Данкиного носа.

– Когда ты собираешься писать?! У тебя три сюжета!

– Поем и напишу.

– Когда поешь? Когда ты успеешь?

– Я хочу есть! – На этих словах распахивается дверь. Надька такая же, как всегда: разъяренная, стремительная, в рыжей шубе. В руках – три пакетика с разными салатами, по сто граммов каждого.

Данка не входит.

– Оксанка? – Надька вешает шубу, не сводя с меня удивленных глаз, потом подсаживается ко мне: к черту три сюжета и морскую капусту! – Ты почему здесь?

– Делала сюжет. Про коровник. – Язык у меня толстый, коровий, я почти мычу.

– Ты ездила?!

– Что ты! Пресс-служба привезла.

– Ты почему домой не пошла?

– Дана попросила сделать сюжет.

– Вот скотина! – Надька рада, что о Данке можно снова сказать плохое слово. Это особое наслаждение: ругать Данку, смеяться над Данкой. Она дает много поводов.

Надька говорит, что был врач, сделал мне укол и велел везти меня домой, спать. Это правда: на правой руке – малиновая точка с алым ободком, след укола. И крохотный синяк, он болит, когда сгибаешь руку.

– Курит там, уродка! Пришла бы и склеила коровник. Нет! Начальство она теперь опять...

Надька ворчит, забыв о салатах и сюжетах. Я робко говорю ей:

– Да ладно, так даже лучше, я хоть отвлеклась... А ты бы поела, а то не напишешь, времени мало.

– А! – Надька машет рукой. – У меня выставка детского рисунка, спектакль в Куклах и машины инвалидам. Если бы не Эдик, первым сюжетом и поставить было бы нечего.

Никак не уйти. Офис держит меня зеленью стен, жужжанием компьютеров, запахом сплетенных проводов. Я стою в коридоре, не зная, смогу ли свернуть за угол, к студии. И страшно, и хочется взглянуть.

– Очнулась? – радостный голос. Оборачиваюсь и вижу молодого парня в кожаной куртке, с кожаной папкой в руках. Густая челка падает ему на глаза, он отбрасывает ее рукой.

Красные милицейские корочки, буквы пляшут, фотография расплывается. Мы идем в кабинет директора, и Виталь послушно выходит прочь. Я рассказываю все снова и плачу, а потом приходится вспомнить вчерашний вечер.

– Это был четверг? – спрашиваю я у следователя.

– Да. – Он удивленно поднимает брови. – Во сколько вы уходили, Оксана Викторовна?

– Уже шли «Новости». Значит, минут пять восьмого.

– Вы часто так поздно уходите? Вы же официально здесь не работаете.

Пожимаю плечами:

– У нас когда сделал, тогда и ушел. А я новенькая, у меня получается медленнее. Вот.

– Значит, часто?

Я хлюпаю носом.

– А Эдуард Максимович был еще в офисе?

– Эдик? Был, конечно. Он вел эфир.

– А кто вообще был здесь, когда вы уходили?

Я говорю, что не помню, и начинаю плакать так, что меня отпаивают пустырником. Это пустырник Эдика, из его стола. Он все время говорил, что волнуется, и жаловался на сердцебиение.

Дома все как всегда: папа гладит белье, глядя в телевизор, бабушка готовит ужин. Мама приходит уже после меня, с двумя трещащими по швам пакетами.

– Ты чего такая? – спрашивает мама.

– Мам, – говорю я, – кажется, я на съемке замерзла. Коровник в чистом поле, ветрища.

– Ага, – соглашается мама, – глаза краснущие! – И кричит в комнату: – Вить! Переключай на новости!

– Не надо! – кричу я. – Я видеть уже не могу этот коровник! Мне от него плохо!

– Ладно, – вздохнув, соглашается мама. Ей жизненно необходимо слышать каждое сказанное мной в телевизоре слово, она за меня волнуется, но всегда в таких случаях уступает. – Завтра спи подольше.

Завтра суббота.

Я ложусь в кровать и плачу. Желтые полосы по потолку, темные тени – по стене. Темная ветка за окном раскачивается от ветра, и все время кажется, что черный бетакам летит ударить меня по голове.

Пытаюсь вообразить, как это было: Эдик, камера на штативе... Штатив раздвинут на всю высоту: наверняка писали погоду, там девицы тонкие, высокие, а камера должна смотреть в глаза. Видоискатель повернут вниз: операторы ниже погоды, особенно когда погода на каблуках. Я вижу, как Эдик подходит к камере, как она теряет равновесие и падает вниз объективом. Эдик близко, он протягивает руку и останавливает падение, он ведь высокий, почти как погода, только без каблуков. Или по-другому: Эдик далеко, и объектив бьет его вскользь по животу. Бред. Я засыпаю, и мне снится, как камера на черном штативе, перебирая тонкими ногами, словно комар, подкрадывается к Эдику и встает на цыпочки. Объектив приподнимается, точно хобот, и ложится ему на затылок. Резким движением камера подминает под себя жертву и, внезапно подогнув штативные ноги, обрушивается сверху.

28 ноября, понедельник

Открываю дверь в кабинет: Данки нет, только висит на стуле ее пиджак. Анечка сидит на столе и болтает ногами, Надя и Лиза – возле, на стульях.

– Ты как? – Даже не пойму, кто выдохнул вопрос, все смотрят на меня.

– Нормально... – А что еще скажешь? – Нормально.

– И кто его? – Анечка задает вопрос стенам, кабинету, пустой монтажке. – Кому надо?

Ее черные густые волосы распущены, тонкие пальцы все время заправляют за ухо убегающую прядь.

– Данка! – Надька кивает на стул с пиджаком и нервно хохочет. За ней начинают смеяться Лиза, и Анечка, и кто-то еще. Я, наверное.

– Ничего себе – смешно, – спохватывается Анечка.

– И чего мы ржем? – Лиза словно и не улыбалась.

– От нервов, – вдруг говорит Надька, и я понимаю: да, от нервов, и снова хохочу, и слышу, как резко хохочут девчонки. Смех звучит глухо, отрывисто, будто лай, а потом превращается в сухой, на грани рвоты, кашель.

Лиза начинает плакать.

– Ну ты что? – Анечка тихонько гладит ее по плечу.

– Я подумала: ведь никто не плакал... Никто ни слезинки... Как будто он никому... Как будто...

Анечкины глаза тоже наполняются слезами, но ясно, что это из-за Лизы. Надька задумчива:

– А ведь и правда, как хотите – никто. Ну что он сделал хорошего? Гадил только всем по мелочи и даже сам этого не замечал.

– Как ты можешь, как ты можешь?! – это Лиза.

– Надь, в самом деле! – Анечка вступает за Лизу, не за Эдика.

Интересно слушать их голоса.

У Надьки голос высокий, резкий, острый, как каблук на ее сапоге. Громкий. Протяжные окончания делают его чуть мягче, но портят. Они банально-гламурные, эти длинные окончания.

У Анечки голос низкий, приятно-шершавый и густой, как ее волосы. Анечкин тембр не спутаешь ни с чьим, он очень красивый, особенно по телевизору.

Лизин голос бесцветен и пуст, говорит она тихо, интонирует только на озвучке. Каждое слово – сухой лист: кружится в воздухе, падает на воду, уплывает, исчезая бесследно. А сама она – серый пескарик – еще незаметнее собственных слов.

Жалко ее. Чтобы поменять тему, спрашиваю:

– Лиз, а ты как, поправилась?

Она смеется:

– Ага, голова только трещит...

– Да не болела она, – мягко улыбаясь, переводит Анечка.

– Я была на свадьбе. Эдик же никогда бы на свадьбу не отпустил. – Поверил он, что ты болеешь? – Я Данке звонила вечером в четверг. Эдику было не дозвониться... Быстрые взгляды рикошетят от лиц. – А во сколько звонила? – спрашивает Надя. – После эфира, в восемь. Даже в девять. Это что, значит, он?.. – Да ну тебя, дурочка! Нет, – Надька вскакивает с места. – В студии народ еще сидел. Даже не думай. И тут я вспоминаю: народу было много. Четверг уже не белое пятно. – Как там Лапуля? – Лиза вздыхает. Ей многих жалко. Иногда после грустных съемок она плачет. Лапуля – жена Эдика. Главбух трех крохотных фирм. Она приходит к нам на работу часто, то по делу, то просто так. – Она была в четверг, – говорю я. – Здесь? – Надя удивлена: все знают, что если Лапуля приехала, то без Эдика не уйдет. – Как же она его оставила? – А если она приходила не к нему?

Четверг, начало восьмого. Я уходила домой, поролоновое тело плыло над лестницей в счастливом предвкушении свежего воздуха и свободы. Застегиваясь на ходу, я никак не могла убрать под куртку шарф; его неряшливая петля льнула к подбородку и лезла в рот, но мне было наплевать, хотелось просто сесть в троллейбус и поехать домой. И тут я вспомнила о чашке, которую опять забыла помыть, и подумала, что завтра снова начнется нытье: что за грязь, кто свинья? Я – свинья! Да, каждый раз хотелось ответить так, но натура не позволяла: я ненавижу самобичевание.

Мысль о чашке настигла меня посередине нижнего пролета, в двух шагах от охранника. Я развернулась и почувствовала, что ноги словно прилипли к лестнице: третий этаж в конце рабочего дня – самоубийство. Но я пошла наверх. Легкое, поролоновое тело передвигалось бесшумно, и моих шагов не было слышно. Я прошла всего-навсего один пролет и замерла: на площадку второго этажа из открытой двери падал свет. Дверей на площадке было две: одна – к чужой фирме, к флористам, другая – к нам, туда, где размещались дирекция, бухгалтерия и реклама. Она и была открыта, и возле нее кто-то целовался, привалившись к косяку. Я увидела высокого мужчину в темном пальто и запрокинутую голову высокой крупной блондинки. Стараясь не шуметь, я спустилась вниз и попрощалась с охранником, понимая, что застучала Лапулю и нашего директора.

– Что значит – не к нему? – Надя смотрит на меня, сдвинув брови. – Просто... Ничего не значит. Просто сказала как версию. Просто. А что у нас сегодня с сюжетами? – У меня – есть, командировочный, я пошла работать. – Анечка соскакивает со стола и включает компьютер. – Может, позвонить куда-нибудь, новостей поискать? Надья протягивает руку и подхватывает с Данкиного стола лист бумаги с написанной сверху датой, потом швыряет обратно. – Что там? – шелестит Лиза. – А-а! Там Анькин фестиваль и одна устная из ГИБДД. – Так я поищу? – Мне неуютно от собственного безделья и от того, что мы можем не набрать новостей на выпуск.

– Уймись. – Надья кладет ноги в красивых сапогах на соседний стул. – А она что будет делать, начальство наше?

– А что?

– А ничего. Мы ей сейчас тут нароем, она придет, на бумажку запишет, операторов раздаст и уйдет курить. А я, между прочим, получаю одиннадцать тысяч, если с переработками. А если без переработок, то девять. А она – двадцать. Пусть работает.

Данка приходит, и начинается скандал. Она обвиняет нас в том, что мы не хотим работать. Надя и Лиза слушают ее внимательно и спокойно, а Анька сидит у компьютера в наушниках, ей, скорее всего, ничего не слышно.

Мне достается ехать на комитет Законодательного Собрания.

– А что там будет? – тихо интересуюсь у Данки.

– В повестке прочитаешь, – ворчит она, не поднимая головы от телефонного справочника.

– Ну хоть что-то интересное должно быть? Что там будет?

– Главное, что будет комитет, потому что больше нет вообще ничего! – Данка звереет.

– А если будет скучно, можно я сделаю просто устную?

– Сюжет! – Она уже орет. – Вашу мать! Если не нравится, ищите новости сами!

Прозрачная ручка, сверкая пластмассовым боком, летит в воздух, отталкивается от стола, подпрыгивает, катится и замирает возле черной глыбы факса.

Комитет – фигня и чушь. Процедурные вопросы. Зацепляюсь за крохотный пункт о детских садах: статистика, которую приняли к сведению. Вымучиваю страницу текста, нахожу старый видеоряд с малышами, которые старательно ковыряются большими ложками в тарелках с кашей. Данка в хорошем настроении: у нее на листочке уже восемь пунктов. Она резвится, глядя, как я работаю, и кричит: «Вот что я называю из пальца высосать!» Мне немного стыдно за то, что мы делаем, за это Данкино беспочвенное веселье. Мне не хотелось бы, чтобы наши новости сегодня кто-нибудь смотрел.

Кто? Мы все время задаемся этим вопросом.

– Может, и правда – Данка? – задумчиво и мстительно интересуется Надька, водя пальцем по ободку чайной чашки. – Она на балконе курит, довольная; хохочет, как гиена.

– Неправда, девочки, – вступается Лиза, – она очень переживает.

Все правда: и переживает – правда, и довольна жизнью – тоже правда. Как чувствует, так и живет, в настоящем, одним моментом. Если при ней говорят об Эдике, то может заплакать – осторожно смахивая слезы: так, чтобы не размазать тушь, – но совершенно не думает о нем, когда курит, собирает выпуск, кокетничает по телефону, считает будущую, уже не журналистскую, а редакторскую зарплату. Смеясь, она растягивает губы, приоткрывает рот и начинает трястись, потом сипит, и только потом из нее вылезают, выгоняемые резкими толчками, глухие, полузадушенные, отрывистые «и». Этих «и» обычно бывает много – Данка смешлива.

– Она очень хотела место редактора. – Надька, женщина-нож, стальная и острая, не унимается. – Помнишь, как Данка злилась, когда назначили Эдика?

Эту историю я знаю. Сначала была демократия. Говорят, было весело, но Надька, Лиза и Анечка тех времен уже не застали. Тогда пять журналистов по очереди, меняясь каждую неделю, были редакторами и садились в кадр. Потом оказалось, что камера любит не всех, и ведущих стало меньше. Начальство тоже оказалось разборчивым и поубавило редакторов. Потом были увольнения, в «Новости» стали приходить новички, и от первоначального состава остались двое – Эдик и Данка. Говорят, они не любили друг друга, ревновали и подсиживали, и каждый шептал начальству, что сменные редакторы – бред и безвластие, что нужен только один. Данке повезло меньше.

Если бы меня так подвинули, я бы ушла. А она осталась. И дождалась.

– Помню, – отвечает Анечка. – Но не она.

– Почему?

– Она раскололась бы сразу.

– Почему ты так думаешь?

– А чего ты про нее не знаешь? Вот какое у нее белье было на свадьбе?

– Стринги, белые, с бежевым кантом.

– Ну вот тебе и ответ!

Надька рассеянно смотрит в чашку, наклоняет ее, словно надеется, что откуда-то еще может вытечь чай. Я тоже хочу пить, но чашки моей на обеденном столе нет.

– Что, ушла? – Анечка полна ироничного сочувствия. – В аппаратной смотрела? Они там пьют по ночам.

– Не смотрела, сейчас схожу.

– А ты ее не мой перед уходом, – мрачно советует Надька. – Мыть им лень, а пить из грязной они брезгают.

Чашка стоит в аппаратной на подоконнике. Я беру ее и ухожу, бросив на Игоря тяжелый взгляд. Он тут же реагирует:

– Это не я. Я только пришел.

– Свои чашки купите. Бедные, что ли?

Но он не слышит: щелкает кнопками, отключая логотипы и запуская рекламу.

Чашку надо мыть. Иду в туалет, дергаю дверную ручку и ругаюсь про себя: снова забыла, что толкать ее надо вверх, а не вниз, потому что она по ошибке поставлена наоборот. Попадаю наконец внутрь, встаю на цыпочки, перешагиваю влажно-грязное пятно, почти уже лужу, брезгливо поворачиваю кран, мою чашку без губки, рукой, капнув внутрь немного «Фэйри». Губкой – себе дороже, мало ли

кто что ею мыл.

В чайнике почти нет воды. Мысль о том, чтобы набрать ее под краном в туалете, нестерпима, но больше нигде.

Анечка угадывает мои мысли:

– Боишься? Правильно делаешь.

– За скотов нас держат, – ворчит Надька. – Думают, что мы можем полакать из унитаза.

– Так давайте попросим! – Я вдруг взрываюсь: пить хочется. – Не хотят нам ставить аппарат, так пусть хоть воду питьевую покупают!

– Пусть, – соглашается Надька. – Кто пойдет? Я уже ходила.

Все молчат. Не потому, что боятся, а потому, что все уже ходили кланчить: ручки, бумагу писчую и туалетную, чайник взамен того, что прослужил шесть лет, а потом сломался, еще что-то...

Мне страшно идти. Кто я? Даже не сотрудник. Но уже не отступишь.

Виталь курит на площадке второго этажа.

– Виталь Борисыч. – Мой голос звенит от волнения. – Знаете, нам неприятно пить воду из туалета.

– А зачем вы ее пьете? – Он выдыхает дым, прищурив правый глаз. Рука с сигаретой отставлена далеко в сторону.

– У нас другой нет. Кулер же вы нам не поставили.

– Кулер у вас проводка не выдержит. Офис вообще на нашу технику не рассчитан, – он коротко хохочет. Это смешно: впихнуть телеканал в обычный офис.

– И что же нам делать?

– Так ходите к нам, в рекламу.

– Мы работаем. – Я злюсь, и волнение пропадает. – Нам в туалет иногда не сходить, а вы предлагаете бегать с чашками по этажам.

Я отвоевываю у него огромную бутылку с водой для кулера и право, когда понадобится, брать такие бутылки. Я не могу даже наклонить эту бутылку. Мы зовем видеоинженеров, чтобы поднять ее на третий этаж, а потом – чтобы налить воды в чайник.

Иду в аппаратную. Андрей косит на меня виновато: точно – он взял чашку. Я толкаю его черное на колесиках кресло, он отъезжает вперед, к пульту, касается животом крышки стола. Теперь я могу пройти к окну. Чашки на подоконнике нет. Наверное, все-таки не Андрей. Диджей? Хочу идти на радио, но тут Андрей говорит:

– Ты меня прости, а?

– Где она? – Не иначе, разбил чашку, гад. Пусть покупает.

– Кто? – Он пугается еще больше.

– Чашка! Достали уже брать!

– Я больше не буду, – вздыхает он. – Но я не брал. Я... это... – Андрей замолкает, а потом выпаливает: – Ты нашла его из-за меня!

– Эдика? – Меня охватывает ужас. – Ты? Эдика?

– Я, – кивает Андрей. – Это я должен был его найти, а не ты. Я же дежурил.

Мне становится немного легче.

В самом начале ночи с четверга на пятницу в офисе стояла тишина. Андрей сидел за пультом в аппаратной. Здесь было сумрачно: он выключил свет, и только мониторы бросали на темное стекло студии разноцветные блики. Андрей дремал в ожидании трех часов – благословенного времени, когда начнется профилактика и можно будет пойти домой.

– Спишь? – Сашок, ведущий спортивной передачи, появился в дверях и качнулся, держась за оба косяка.

– Ага.

– А подхалтурить?

Андрей молчал, и Сашок начал канючить:

– Андрюх, ну выручи, а?

– Что делать?

– Да... там надо фильм смонтировать.

– Сейчас?!

– Слушай, заказчик не понимает ничего, возьмем старых сюжетов, переозвучим, видеоряд погоним как есть, а?

– Сколько?

– Пять.

Андрей встал: ему очень хотелось заработать пять тысяч за полночи халтуры.

– А потом водочки выпьем.

– А как же эфир?

– Да брось ты! Начальство спит. Кто увидит?

Подумав, Андрей согласился и пошел вслед за Сашком, словно маленький покорный ослик, надеясь, что даже если его отсутствие будет замечено, большого скандала не выйдет.

Часа полтора они монтировали в кабинете «Новостей», потом пили водку, чем-то скудно закусывая. Андрей быстро захмелел.

– Поехали домой, я подвезу, – предложил Сашок.

– Хрен я с тобой поеду, – Андрей замотал головой, – задавишь кого-нибудь по дороге!

– Так кого давить? – Сашок был рассудителен и грустен. – Три часа ночи, нет никого. Я тихо поеду, шепотом.

Три часа ночи. Если бы Сашок не сказал этих слов, Андрей и не вспомнил бы, что пора отключать аппаратуру. Он пошел в свой аквариум, стучаясь по пути о стены и удивляясь тому, как широки стали его плечи. Слева, в студии, было темно. Справа, в аппаратной, прыгали по стенам карнавальные телесплохи. Фильм закончился, и загорелась настроечная таблица.

Андрей выключил мониторы и пульта. Последний щелчок, и темнота вокруг стала непроглядной. Жалюзи на окне были плотно закрыты, свет городских фонарей сюда не проникал.

Андрей молча постоял в темноте, потом начал падать, не в силах определить, где верх и где низ... Руки схватились за стол, закрутившаяся было комната успокоилась. Ощупью он пробрался к выходу, едва не забыв захватить из крохотного предбанника висевшую на вешалке куртку. Вышел в ночь, где стало уже морозно, и снежинки неслись, подхваченные порывом ветра. Андрей поднял воротник, засунул руки как можно глубже в карманы и побежал домой, не сразу сообразив, что стоило бы вызвать такси.

– Ну и что? – Я никак не пойму, к чему этот рассказ, к чему трагедии и виноватые глаза. – Если б я не пошел, его бы не убили. – Андрей снимает логотип, так

остервенело щелкая кнопками, что пульт становится жаль. – А если бы не пил, то увидел бы его я, а не ты. Хреново, наверное, было такое увидеть.

– Да ладно тебе, Андрей. Я почти ничего не видела. Только ноги и камеру.

– Прости меня, – шепчет он снова.

– Прощаю. – Я улыбаюсь и протягиваю руку, но Андрей не знает, что с ней делать, и просто смотрит на мои пальцы. Рука возвращается в карман.

29 ноября, вторник

Очередной сюжет. Маленькая деревня. Чистое поле, снег. Последние пятьсот метров идем пешком – даже Дядь-Паша боится завязнуть. Нас встречает бодрый, лет шестидесяти, старик; он показывает темные дома, полуслепых и несчастных старух. Входим в избу. На камере – мощный прожектор, хозяйка радуется:

– Посвети мне, сыночек, посвети. Хороша лампочка. Мне б такую лампочку.

Старуха заискивает, смотрит Диме в глаза. Тот твердо отвечает:

– У нее, бабусь, батарейка сейчас кончится. Батарейки минут на двадцать хватает.

Бабка обиженно замолкает. Дима выключает намерный фонарь, и мы погружаемся в темноту, пронизанную тонкими полосами зимнего дневного света, который льется через заросшее грязью окошко избы.

Кто-то срезал провода. Деревня сидит без света уже неделю, на ферме киснет без холодильников молоко, фермерским детям трудно делать уроки, а бабки – что? Зачем им свет? Доживать можно и без света. Зверю, думая об этом, смотрю на старые, морщинистые лица, на ноги в широких валенках, с трудом плывущие по глубокому снегу, на палки и костыли.

– Что милиция?

– Какая милиция в чистом поле?

– А энергосети?

– Зачем, говорят, вам провода, их завтра опять срежут.

Мне двадцать лет, что я могу сделать? Снять сюжет для телевидения. И получить за него двести рублей.

Выходим из деревни, плетемся по дороге. Ноги скользят, увязают в снегу. Справа в поле чернеют столбы, между ними – сизое небо, не перечеркнутое штрихами проводов. Валит густыми хлопьями снег. Дима останавливается поднять пустые столбы, потом забирает все, что есть у меня в руках, – микрофон, блокнот, ручку – и рассовывает по карманам надетого под куртку операторского жилета. Операторы редко забирают у журналистов все эти мелочи, не знаю, почему.

Идти становится легче: балансирую, взмахивая руками. На кого я похожа издали, на канатоходца или на галку?

Хлопья снега, как птицы на морской утес, садятся на мои выбившиеся из-под капюшона густые кудряшки. Некоторые липнут к ресницам, тают и текут по щекам слезами. Чуть не падаю в снег, Дима ловит за локоть.

– Хочешь, – спрашивает он, – я подвезу тебя сегодня домой? Ты мне позвони, когда закончишь.

– Хочу, – соглашаюсь я и поднимаю голову, чтобы посмотреть на его лицо, но снег густ, лица не видно. В животе – сладковато-жутко.

– Где живешь? – спрашивает Дима в машине.

Я счастлива, что он меня подвозит, уже просто потому, что очень устала. Выбраться из полей нам удалось с большим трудом. Снег падал так быстро, что пару раз мы увязали в сугробах там, где спокойно проезжали всего час назад.

Мы толкали машину втроем: я и Дима – сзади, Дядь-Паша – за переднюю стойку.

В офисе мы появились только к обеду. Девчонок еще не было, и Данка, увидев меня, радостно всплеснула руками:

– Вот! Быстро в центр – снимать снегоуборочную технику.

– Зачем?! – Я спрашивала с усталостью и тоской, мне хотелось есть, пить горячий чай и потихоньку разбираться в печальных снежных кадрах.

– Снегопад. – Данкина рука красноречиво показывает на окно, за которым сыплет и сыплет снег. – Техника не справляется.

Мы провели на съемке час, поснимали заснеженные улицы, людей, у которых на головах моментально нарастают сугробы, буксующие машины, пару аварий и редкие снегоуборщики, после которых полотно дороги тут же снова покрывалось ровным белым слоем. Когда мы вернулись, Данка, по обыкновению выходявшая с балкона, спросила:

– У тебя первый сюжет когда будет готов?

От неожиданности я даже едва сообразила, что ответить:

– Я же только что приехала! Дан, ты же сама меня сразу отправила.

– Да? – Данка смотрела на меня с сомнением. – А ты видела, сколько времени? Быстро давай пиши!

Я поставила кассету в камеру, чтобы перегнать видео в компьютер, и только потом разделась и побежала в студию. Там я написала подводки – какие попало, лишь бы были – надеясь, что Данка сама поправит; не отсмотрев видео, стала писать текст, только примерно представляя, какие там были синхроны...

Леха подошел ко мне. Я набирала текст, не поднимая головы от клавиатуры, чувствуя, как время стремительно стекает по пальцам.

– Ты в курсе, сколько времени осталось? – спросил он.

– Да! – почти крикнула я.

– Что будем делать? Монтировать в прямом эфире?

– Если ты будешь стоять и дудеть мне в ухо, я точно не успею. Все. Пошли.

И я, нажав кнопку «печать», стала приплясывать у принтера, а потом побежала в монтажку. Я читала, проглатывая звуки; на таймлайн[5 - Таймлайн – часть программы нелинейного (компьютерного) монтажа, выглядит как лента, на которую «бросают» отрезки видео и звуковых файлов.] мы кидали все без разбору: бракованные кадры, микропланы... Успели, и тело мое сразу стало костенеть от усталости.

Мы трогаемся с места.

– Представляешь, – говорю я Диме, – я за целый день съела только булочку и, по моему, ничем ее не запила. Голова болит. И пить хочется.

Заезжаем в маленькое кафе. Полутьма. Негромко постукивают деревянные бусы на занавеске, скрывающей кухню. Пытаюсь заказать только чай, но Дима против:

– Принесите нам две отбивные с гарниром, чай и пирожные.

Я расплываюсь в улыбке: вот так, неожиданно, у меня – настоящее свидание. Дима улыбается в ответ. О чем говорить, неизвестно. Операторы молчаливы, никогда не знаешь, что у них там, в голове.

– Ты как? – спрашивает Дима, и в его голосе – неподдельное участие.

– Нормально. Только не спрашивай. Когда спрашиваешь – вспоминаю.

Слезы лезут вверх по горлу, как настойчивые альпинисты. Я сглатываю, обрушивая на них, как лавины, мощные спазмы, но они настойчивы, щекочут нос, добираются до глаз. Пик взят, слезы катятся вниз.

Дима не знает, что сказать, теряется, но тут приносят мясо, и я беру себя в руки.

– Я никому не говорила. Даже мама не знает. Ночами трудно – снится. Днем как-то забываю.

Дима кивает, молча режет мясо.

– Хорошо, – продолжаю я, – что сменили ковролин и задник: вроде и студия уже другая, как будто снова переехали. Комнаты, в которую я тогда вошла, нет, и словно всего остального тоже не было.

Замолкаю на секунду, а потом сама себе возражаю:

– А вообще – вру. И днем тоже страшно иногда.

– Почему? – Дима осторожно заглядывает мне в глаза. – Офис такой тесный, столько людей, все на виду.

– И среди них – тот, кто это сделал.

– Ты думаешь, он из наших? – Дима хмурится, накалывает на вилку кусок мяса и начинает жевать.

– Конечно: охранник на входе, домофон внизу, домофон на этаже. – Я загибаю пальцы. – Сотрудников мало, коридоры узкие, каждый чужак как на ладони. Что еще думать?

– А вечный бардак? Охранник спит, брусочек под дверь, чтобы не искать ключей. – Указательный Димин палец ложится на загнутый большой. Больше перечислять нечего, но пунктов и так довольно. – Так что не бойся, это не наши.

Но я упряма:

– Могут быть не наши, а могут быть и наши. Как знать?

– Не наши.

– Почему?

– Потому.

– Ты точно знаешь?

– Точно.

– Расскажи.

– Незачем. Тебе знать – незачем.

– Врешь ты, вот что.

– Вру. – Дима покорно соглашается и смотрит на меня, смеясь глазами.

– А зачем? – говорю я, играя звуками слов, словно шаловливый ребенок.

– Ты мне нравишься... – Он виновато пожимает плечами.

Хищная камера на тонких ногах бежит за мной по узким коридорам, раскрывает объектив, выплевывает стекла, которые мешают ей меня съесть. Стекла сыплются на пол и хрустят под тонкими ногами штатива. Кто отпустил ее одну гулять по коридорам? Кричу во сне, приходит мама.

– Ты что?

– Ма-ам, – виновато шепчу я, прижимая лицо к ее груди. Ночнушка тонко пахнет стиральным порошком, руки – кремом, запах которого я помню еще с детства. – Я тебе не говорила...

Мама охает, прижимает ко рту руку:

– Бедная моя, что же ты не сказала? Как же ты?

– Я боялась, что ты непустишь меня на работу.

Она долго гладит мою голову, лежащую у нее на коленях, молчит.

– Обещай, что не будешь там задерживаться, – говорит она. – Хочешь, я лягу здесь, с тобой?

– Хочу, мам.

Глаза закрываются, темнота уносит меня, но там, в темноте, витают тонкие мамины запахи.

– Мам, – шепчу я, ненадолго выныривая, – а у меня сегодня было свидание. Мы вместе работаем. Он присмотрит...

– Ты спи, – говорит мама, и я засыпаю.

30 ноября, среда

Старые казармы хорошо смотрятся в кино: Фандорин взбегаёт по мощным широким лестницам, придерживаясь рукой за ажурные кованые перила, прыгает по изящным изломам крыш и, перегибаясь, смотрит вниз на заснеженный двор.

А мне здесь очень плохо. Я вдыхаю запах канализации, мерзну в темных коридорах, боюсь прислониться к липкой стене.

Мне показывают комнаты: маленькие, перегороденные шкафами. Входя, я упираюсь взглядом в их фанерные спины. Обои выцвели, вещи валяются как попало, следы потеков украшают стены и потолок желто-зелеными заплесневелыми кляксами, отслаивается и падает кусками штукатурка. Говорят, большой пласт, рухнув, едва не убил ребенка. Идем в комнату, где это случилось: дыра в потолке зияет ромбами гнилой обрешетки.

Кухня заброшена: загаженные плиты, окно, разбитое и заложённое фанерой, свернутые краны и ручки.

– Где вы готовите? – спрашиваю я.

За моей спиной волнуется толпа обреченных здесь жить.

– Плитки в комнатах, чайники электрические... – раздаются сразу несколько голосов.

Санузел – шок. Три из четырех унитазов не работают. В одном стоит по ободок мутная жижа.

– Отойдите, сейчас включу душ, – предупреждает женщина. Мы с Димой стоим в дверях, он прицеливается камерой. Душ клоочет, выплевывает воду. Что-то шуршит в трубе под потолком, и вода начинает просачиваться сквозь десятки крохотных дырочек, заливая все пространство душевой.

– Все так? – спрашиваю я.

– Нет, только этот, – отвечают женщины. – Остальные – ничего.

Душ выключен, но все еще капает дождь-из-трубы. Желтая краска стен разрисована черным грибком и рыжими полосами ржавчины, украшена горельефами вздувшихся и лопнувших пузырей краски.

Хочется свежего воздуха. Говорят, на построенные фабрикантом казармы жаловались еще рабочие, жившие в них сто лет назад. Выйдя из подъезда, мы стараемся встать подальше от стен, из которых время от времени вываливаются кирпичи. Дождаясь нас, водитель, молоденький Сережка, дремлет в старом сером «фольксвагене», сдвинув шапку на глаза. Радио в салоне орет, включенное на полную громкость.

Дима тянет меня за угол: хочет снять самую страшную, щербатую стену. Я иду, и он ставит меня подальше от развалин, возле торчащего из-под снега засохшего куста репейника.

Стена глухая, нас не видят жители, не видит водитель, и Дима долго-долго меня целует. Мы целуемся весь этот день, с самого утра, и в офисе о нас уже знают.

Знает и Данка: плетет нити, играет нашими судьбами, но я не верю ей, как не верю в умерших богов: пусть себе играет, то позволяя нам быть вместе, то разлучая нас по собственной прихоти. Несколько движений, чернила пачкают бумагу, и вот напротив времени съемки – мое имя рядом с его, или чужое – рядом с моим, и мы уезжаем в разные стороны. Ее власть призрачна, но я никогда не скажу ей об этом.

Мы приезжаем из казарм: у входа в офис – взволнованные старушки.

– Любимая женщина Эдика, – шепчу я Диме. Мне не по себе.

Зинаида Петровна – маленькая, хрупкая, с черно-седой головой, вечно окруженная толпой нерешительных подруг. Она борется за правду, ее знают все журналисты, но она выделяет и любит только Эдика: он умел ее слушать, умел молчать и кивать головой, пока она взвизгивала по-старушечьи так, что я выходила из кабинета, не в силах этого вынести:

– Вы тоже так считаете? Да? Правда? Ну ведь точно? Скажите, я же права?

Эдик кивал. Отправлял ее домой. Никогда ничего не снимал. А она почему-то не обижалась.

Я думаю: для нее ведь это – потеря, трагическая, страшная. В ее жизни на месте привычной фигуры образовалась пустота...

Иду в офис, слушаю скрип снега под ногами и вспоминаю всех, кому без Эдика станет хуже. Например, Бога, у которого он однажды взял интервью. Все говорили: бред, стоит ли выставлять болезнь на посмеяние? А Эдик ездил, разговаривал и выпустил сюжет в эфир. Бог оказался молодым застенчивым парнем, рассказавшим, как он планирует переустроить надоевший ему мир. С тех пор Бог звонил нам иногда – по-дружески. Еще был страшноватый человек-поезд, говоривший по телефону ровным, без эмоций и интонаций голосом страшные вещи; была Ларисик, молоденькая и влюбленная...

Все такие были: и при мне, и до меня.

В офисе Данка нервно крошит сигарету, впиваясь в нее ногтями.

– Ты чего? – спрашиваем мы с Анечкой в один голос: она идет за мной, тоже вернулась со съемки.

– Девчонки, у них сегодня обострение.

– У кого?

– У психов, у кого еще? Шапоклячку видели?

– Да. – Данка называет Зинаиду Петровну Шапоклячкой, а я – нет. Мне противно оскорблять жалких людей.

– «Что же?! Как же?! Что теперь?! Что же будет?!» – Данка передразнивает старуху, руки взлетают в воздух, табак из раскрошенной сигареты сыплется на стол. Она осторожно проводит по столу ладонью, собирает крошки, выбрасывает их в ведро. Артистка. Делает вид, что волнуется.

– Потом позвонила Ларисик. Сказала, что смотрит новости, Эдика нет. Что лежала в больнице и беспокоится.

– А ты что? – спрашивает Анечка. Ларисика жалко, хотя она всем надоела звонками и эсэмэсками, каждую из которых Эдик нам гневно зачитывал, и тем, что дежурит иногда перед входом.

– Я? – Данка гневно встряхивает грудью. – Я рассказала.

– И что?

– А что? Ничего. Повесила трубку.

Мы с Анечкой замираем.

– А вдруг она... теперь... – Анечка боится даже предположить.

– Ничего с ней не будет! – Данка машет рукой. – Переживет. А что я могла сделать? А?

– А больше никто не звонил? – Анечка меняет тему.

– Нет, а кто еще? – Данка роется в сумочке, отыскивая сигареты.

Анечка пожимает плечами:

– Бог, например. Раньше он звонил часто.

– Бог все знает, ему звонить не нужно. – Это Надька, снимая наушники, отвлекается от компьютера. – Ему по статусу так положено.

Данка выходит курить. Анечка щелкает кнопкой чайника.

Люблю монтажку. Пусть тесно, пусть жужжит аппаратура и капает конденсат из темной щели кондиционера, зато тут – территория покоя площадью полтора на два метра. Стол с полками для трех мониторов, видеомагнитофонов разных форматов и огромного компьютера. В уголке – микшерский пульт и доживающий свой век пульт линейного монтажа с западающими кнопками.

Между столом и стеной – узкая полоска пола, на которой помещаются два офисных табурета на колесиках. Наш видеоинженер Леха огромен, но добр и тих. Его мягкие руки лежат на столе, под ними совсем не видно мыши, и поэтому красный свет из-под ладони в те мгновения, когда рука поднимается над столом, кажется чудом.

Склонив голову, он колдует над моим сюжетом.

– Вот так и вот так... Давай? – приговаривает он. – Класс, хорошо старается Димыч, надо будет ему сказать. Какая красота, ну надо же! Плесень, капли, окно пыльное, унитаз вон какой нарядный... Ради тебя старается?

Я краснею от удовольствия.

Мне нравится, что Леха не торопится клеить, когда не поджигает время. Мы сидим и тихонько болтаем обо всем на свете, но больше всего – об офисе.

– Леш, – спрашиваю я, – а ты здесь был в четверг, когда Эдика?..

– Нет, не был, – отвечает он, подрезая следующий кадр. – Вечером был, а потом ушел, как новости свел. А что?

Пожимаю плечами:

– Просто интересно. Хочется все же узнать, что случилось.

– Хочется.

– Может быть, у кого-то был мотив?

– Был.

– У кого? – Я подсакиваю на месте.

– У Захара – точно был.

Я разочарована: Захар Лехе – вечный враг; он забирает себе все проекты, где работать надо мало, а получить можно много. Он – главный режиссер.

– Ну конечно, и одиннадцатое сентября – тоже Захар. – Я тяну к Лехе скрюченные пальцы, делаю вид, что хочу его задушить.

– Нет. – Он вдруг становится совершенно серьезен, и я понимаю: не выдумывает.

– А что?

– Да деньги они все делили. Оба – сквалыги, что тот, что другой. Разве не знаешь? Делали вместе халтуру под выборы, деньги забирал Эдик. Вот и вышло – Эдику дала, Захару – не дала...

– Он что, все деньги...

– Все, не все – не знаю, но Захар обиделся – мягко говоря.

– Стой! Стой ты! – кричу я, тыча пальцем в экран.

– Что?! – Леха отнимает руки от кнопок и смотрит на меня. Но я уже и не думаю о Захаре.

– Назад давай, – говорю я. – Там кадр хороший. Тетка плачет.

Леха отматывает немного назад, и мы видим: женщина, темноволосая, кудрявая, с короткой стрижкой, в дешевом, но чистом домашнем халате смахивает с лица крупную слезу. Леха двигает мышкой, перемоткой гоняет слезу вниз и вверх по щеке и соглашается:

– Хорошо снято, крупненько так. Я ее приклею к унитазу.

Клеит. Получается, что женщина плачет, глядя на заполненный жижей унитаз.

– Несмеяна, – говорю я.

– Это да, – кивает Леха. – Наплакала... темненьким таким.

Мы ржем минуту, а может быть – две. Потом я откашливаюсь и говорю:

– Хватит, Леш. Нехорошо как-то. Они, представляешь, так живут.

– И что, там все и правда вот такое? – искренне интересуется он.

– Ага.

– Хреново.

Дальше мы клеим молча. Грустно на все это смотреть, хотя на экране казармы выглядят не так страшно, как вживую.

Вдруг я вспоминаю:

– Так что Захар?

– Да что? Бесился. Знаешь, как они орали друг на друга в последнее время? Жуть, тут офис дрожал.

– И что, ты думаешь, он мог?

– А кто его знает?

– А зачем?

– Низачем. От злости.

– Лех, ты зря. От злости? Вот так? Нет. Денег ему от этого не прибавится. Да и выборы когда были! Пора уже остыть.

Леха молчит. У него свой взгляд на вещи.

1 декабря, четверг

Приезжаю с прессухи[6 - Прессуха – пресс-конференция.] губернатора. Всем раздавали вопросы на бумажках, поэтому было скучно. Пресс-служба бегала с выпученными глазами и шипела каждому на ухо:

– Хотите что-нибудь спросить – только с нами, только через нас, вы же знаете, как он не любит, когда...

Приезжаю, отсидев в душном зале полтора часа.

Данка говорит:

– Не затирай пресс-конференцию, а? Малышева просила оставить исходник[7 - Исходник – исходный, еще не смонтированный видеоряд.] для итоговой программы.

– Дан, у меня тогда места на кассете не останется.

– Сходи, попроси новую у Захара.

Я поднимаюсь по узкой крутой лестнице на четвертый этаж, в мансарду, место обитания игрушечного начальства, которого боятся только редкие девицы из новеньких. Здесь кабинеты Захара – главного режиссера и Малышевой – главного редактора. А сбоку – крохотная, без единого окна, комнатка операторов. Когда съемок нет, они сидят здесь втроем, соприкасаясь коленками и упираясь плечами в полки, с которых хищно смотрят одноглазые камеры. Здесь вьются заросли проводов, в углах таятся коротконогие сложенные штативы, а завершают пейзаж камни аккумуляторов и розеток.

Дверь в кабинет Захара открыта, и я вижу его еще из коридора. Он невысок и толст, но весьма подвижен. Голова его, некогда покрытая светлыми волосами, блестит, отражая свет гладкой кожей. Рот прячется в короткой густой бороде и моржовых усах.

– Захар, – говорю я, опираясь на дверной косяк, – мне нужна новая кассета.

– Вы их едите? – Он хмуро смотрит на меня, покусывая русый длинный ус.

– Мне Данка велела оставить исходник для Малышевой.

– Для Малышевой? – Захар сомневается, но потом говорит: – Все равно – нет. Надо заказывать.

– Захар, сходи, закажи, а? – Я стараюсь уговорить, потому что понимаю: если он откажет, мне до конца недели клянчить кассеты у девчонок.

– Мне что, делать больше нечего?

– А что ты делаешь? – Мой вопрос искренен, я и правда не понимаю, что входит в его обязанности. Я вижу, как он записывает прогноз погоды: это пять минут в день. Еще полчаса монтирует рекламную программу. Что еще? Курит. Смеется в коридорах. Кричит на кого-нибудь. Все, по-моему. Утренний канал запуганные им девчонки делают сами. Они у него умные.

– Нет, правда, Захар, а что входит в обязанности главного режиссера? Что ты у нас режиссируешь?

– Оксан, уйди, не мешай. – Захар обиделся, и это повод не отвечать. Видимо, он и сам не до конца понимает, что должен делать, просто телеканалу положен главный режиссер.

Я возвращаюсь к себе, в новости.

– Не дал? – спрашивает Данка.

– Не дал, – подтверждаю я.

Она начинает рыться в столе.

– Вот, нашла какую-то кассету. Потерял кто-то. Будет наша теперь – нечего терять.

Мне везет: кассета новенькая, и я решаю под шумок оставить ее себе вместо моей, у которой начало уже битое, и изображение при просмотре рассыпается на цветные квадраты.

На новой кассете записано всего ничего: общие планы кабинета да минут пять каких-то перебивок. Я отматываю на чистое место, чтобы ничего не затереть: на случай, если хозяин хватится, и еду на следующую съемку.

2 декабря, пятница

Время от времени кого-то из нас вызывают в милицию. Данка бесится и говорит, что планировать съемки не получается. На самом деле ей не становится намного труднее, просто она любит нас контролировать.

Мне в милицию к девяти. Мама берется меня провожать, я уступаю, чтобы она не переживала. Захожу в темный подъезд, а она остается мерзнуть в скверике под

заснеженными липами.

В крохотном крашенном желтой краской кабинете молодой человек задает мне вопросы.

– Вспомнили что-нибудь еще про четверг?

– Да, – с готовностью отвечаю я. – Вспомнила, кто был, когда я уходила. Перечислять?

– Ну давайте. – Ему, похоже, все равно.

– Эдик оставался и оператор Витя Русаков. Захар Кулагин, главный режиссер, и Лида Пяткова, другая ведущая, ждали, когда можно будет записать подводки к рекламной программе, собирались сидеть до конца эфира. На эфир пришел Волков, Степан... Ильич, по-моему, председатель думской контрольно-счетной палаты, с охранником. Директор был, я его встретила на лестнице. Еще была Лапуля – Ольга, жена Эдика...

Тут у следователя в глазах появляется интерес:

– Ольга была?

– Ну да, она заходит очень часто.

– Точно была?

– Точно. Я шла домой, спускалась по лестнице, а она и Виталий Борисович вышли на площадку – я обернулась на скрип двери.

Не говорю про поцелуй. Мучилась всю ночь, а потом решила: не буду.

– Так. Кто еще?

Пожимаю плечами:

– Это те, кого я точно помню. Наверняка, был еще кто-то. Но народа все время так много, все так быстро приходят и уходят, что не помнишь, было это в тот день, или в другой. Кто-то мог быть в рекламе и бухгалтерии. Диджеи на радио.

– Хорошо, Оксана Викторовна. Еще один вопрос: руки Эдуарда Васильевича... Вы не помните, когда вы увидели тело, были ли на них наручники?

– Что? Наручники?

– Да. Когда мы приехали, его руки были скованы за спиной наручниками.

– Нет, – я качаю головой, – я не помню наручников. Когда я зашла, увидела сначала ноги, потом – свитер, а выше – камеру... Рук не видела.

Моя губа начинает дрожать. Я вспоминаю серо-сине-черно-белые тона студии и пятно крови: тоже черное, но по-другому, ярко.

Платок достаю быстро: он у меня в рукаве – мама засунула за манжету, как в детстве, перед походом к стоматологу, чтобы можно было сразу найти.

– Но если бы руки были скованы за спиной, вы увидели бы их? Должны были бы увидеть?

– Думаю, да, – соглашаюсь, сморкаясь в платок.

– А кто был на телеканале тем утром?

– Не знаю. Я видела только дядю Пашу, водителя. Но он заходит в офис только за зарплатой. Должен был быть Дима – наш оператор, диджеи, может быть, уборщица. Не знаю.

Выхожу из подъезда: мама уже здесь. Обнимает меня и ведет в кафе пить горячий чай.

Появляюсь в офисе поздним утром. Надька уже успела вернуться со съемки: стоит посреди кабинета в шубе и с микрофоном в руках, внимательно слушая Анечку:

– ...фингал на пол-лица, – размахивая руками, говорит та.

– У кого? – бодро спрашиваю я: надо делать вид, что настроение – хорошее.

– У Ольги.

– У какой?

– У Лапули.

И Анечка, понимая, что я не отстану, рассказывает мне заново:

– Я вчера была в милиции. Подхожу к подъезду – Лапуля навстречу. На лице – темные очки, под очками – фингал, огромный, не скроешь. Синий, свежий.

– И откуда, интересно, фингал?

Надька и Анечка пожимают плечами и молча расходятся: в кабинет входит Данка.

Вчера мне казалось, что не бывает ничего хуже, чем день без единой свободной минуты. Сегодня думаю, что самое отвратительное – день, гудящий от безделья, словно ведро, по которому бьют палкой. Глаза устали от компьютерных пасьянсов, которые я раскладываю, пока Данка лихорадочно ищет новости; уши – от телефонной трубки, которую я беру, когда Данка уходит курить. Время идет, и хочется делать что-то, что отупляет не так сильно, как пасьянсы или набор бесчисленных телефонных номеров.

Факс из ГИБДД – небесная манна. Отрываю скользкий листок, на котором любое замятие превращается в серую, словно от простого карандаша, черточку, и начинаю читать. Данка смотрит на его пустую сторону, снизу вверх, взглядом хищной, но ослабевшей птицы, которой очень хочется добраться до добычи.

– Смотри: может, будет устная?

Я читаю. Мелкие, незначительные аварии, и только в конце пресс-релиза: «...возле деревни Козино водитель П. И., 23 лет, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на двух девочек, восьми и девяти лет. От полученных травм девочки скончались на месте».

– Есть устная, – хочу сказать я Данке и даже думаю о том, что можно взять синхрон в пресс-службе ГИБДД, но тут страшная, черная, холодная мысль обжигает мне сердце: если бы не было трех этих строк, я осталась бы без устной; я не заработала бы сегодня ста рублей гонорара. Теперь заработаю. Так что же: девочки умерли ради этого? Ради лишней сотни в мой карман? Получается, так?

– Ну что там? – Данка нетерпеливо встает, обходит стол, заглядывает через плечо, протягивая к бумаге покрытые золотыми бликами пальцы.

– Пусто, Дан, – отвечаю я, комкая факс. – Только поцарапанные бамперы. К счастью.

Сижу скучая. Искать уже не хочется. Хочется домой, пусть сегодня и не заработано ни копейки. Раскладываю пасьянс на компьютере, не слушая, как ворчит Данка, у которой выпуск неприлично гол. В четыре она дозванивается в районную библиотеку. Выставка рисунков маленьких читателей.

Едем бегом, врываемся в библиотеку двумя снарядами. Сенька тут же раскладывает штатив и начинает снимать, никого не дожидаясь. Библиотекарь и заведующая испуганы: телевидение у них впервые.

– Рассказывайте, – рывкаю я, и они начинают рассказывать о своей замечательной библиотеке со дня ее основания.

– Только о выставке, – останавливаю я их, и они послушно замолкают. Спиной чувствую, что Сенька готов писать интервью, и повторяю: – Расскажите о вашей выставке.

– К нам, – подкашливая, стесняясь и нервно сжимая одну руку другой, говорит заведующая, – ходит много маленьких читателей. Все живут тут, неподалеку, в нашем районе, и мы стараемся всех приучить к чтению...

Пятнадцать минут интервью, еще десять – на съемку рисунков. Пустая, маленькая библиотека, ни одного ребенка в кадре. Плевать, главное – есть сюжет.

В машине пишу подводку и пытаюсь набросать текст.

В офисе пишу быстро, с напряжением, так что начинают дрожать пальцы. Стремительно отсматриваю материал, вырезаю куски синхронов. Рядом что-то торопливо строчит Лиза. Стараюсь успеть раньше нее, но не получается: раз! – и она уже в монтажке.

– Не успеем! Не успеем! – стонет за моей спиной Данка. – Как назло, сюжетов мало, поздних – много.

Что делать? Начинаю монтаж на своем компьютере, примерно прикидывая, сколько секунд видеоряда пойдет на каждый кусочек моего текста.

Лиза выходит в кабинет, я влетаю в монтажку, сажусь, низко нагибаю шею, прижимаю губы к рыхлому поролону микрофонного пыльника. Краем глаза слежу, как усталый Леха настраивает под меня звуковую аппаратуру. Пальцы его взлетают вверх, дают отмашку, я начинаю читать и сразу запинаюсь.

– Не успеем, – сипит он.

Я собираюсь, превращаюсь в робота, отчитываю без единой запинки. Пыльник щекочет губы, но отклониться нельзя, пойдет брак. Руки затекают: тяжело держать текст так, чтобы он был виден в зазор между микрофоном и моей же челкой.

– Молодец, – удивленно говорит Леха. – Надо же!

Он уже открывает по сети файл с моим видеорядом. Куски текста точно встают в подмонтированное мной видео, и только в паре мест приходится подрезать секунды по две.

– Успели? – удивляется Данка.

- Ага, – отвечаю я. До эфира – меньше пяти минут.
- Ну вы даете!
- Я черновик склеила, пока ждала.
- Молодец... – В Данкином голосе уважение.
- Выпуск как: нормальный?
- Нормальный. – Данка потягивается в офисном кресле, вытягивая руки над головой и ноги – под столом. – Четыре сюжета и устная.
- Еще устную нашла?
- Нашла.
- Где?
- Сводки, дорогая, надо читать внимательно. Я решила пересмотреть, Надьке ГИБДД дала – она написала. Ну что, по домам?
- По домам, – тоскливо соглашаюсь я.

5 декабря, понедельник

Четыре часа дня. Аришка вернулась из парикмахерской и сидит у нас в кабинете, обложившись тональными кремами, пудрой, карандашами, румянами, помадой, тенями, тушью, тысячей ваток, тампонов и аппликаторов. Сейчас она накрается и станет разбираться в путанице подводок, устных и анонсов, потом наденет пиджак и пойдет в студию – вести городские новости. Ее лицо несчастно.

- Ты чего такая? – спрашивает ее Лиза.

– Устала, Лиз. Просто сил нет. Вдвоем с Малышевой ведем, получается неделя через неделю – график жуткий, сама бы попробовала. А у меня еще новости на радио по утрам. Кошмар!

Аришка промахивается карандашом мимо глаза и начинает ожесточенно стирать неровную черту ватным тампоном.

– Зато денег больше... – Для Лизы это вопрос насущный, потому что она одна снимает квартиру.

– Я бы их отдала. С радостью бы отдала. – Аришка снова начинает красить тот же глаз. – Хожу к Виталю, говорю: посадите на эфир Надьку или Аню! Ни в какую. Я говорю: они уже вели на заменах, получалось нормально! А он – нет. Кто-то, видно, ему капает. Кто-то не хочет. – Кто? – спрашиваю я.

– Не знаю, – вздыхает Арина, – знала бы – убила.

– Леш! – кричит она вдруг в монтажку. – Ты меня сегодня дождешься?

Леха с Ариной живут в соседних дворах, и он часто ее подвозит.

– Дождусь. – Леха на табурете подъезжает к дверям и выглядывает к нам в кабинет. – А что?

– Да мой этот... родной придурок опять звонил.

– И что опять?

– Опять говорил, что любит. Обещал после эфира ждать у подъезда с букетом цветов. Ой, девчонки, вы бы знали, как я его боюсь!

– Почему? – спрашиваю я.

– Оксан, он противный такой. А главное, видно, что больной: глазки бегают, и кончик носа все время шевелится. Я не вру – правда, шевелится.

– Сказала бы мужу...

– Да ну его. – Аришка машет на меня пушистой кистью для румян, и невесомая косметическая пыль летит от нее во все стороны. – Леш, не уезжай без меня, ладно? А то я от страха умру.

– Ладно, – басит он, снова невидимый, из монтажки.

6 декабря, вторник

Просыпаюсь под утро от назойливой мысли. Она хуже мухи – щекочет губы, жужжит в голове. Я думаю: «Наручники!» Только сейчас, почему-то только сейчас я понимаю, что хотел сказать следователь. Выходит, если я не видела наручников на мертвом Эдике, если их там на самом деле не было, значит, кто-то увел меня из студии, а потом вернулся и... Но зачем? Зачем так – бессмысленно и мерзко – путать следы, сковывать и без того скованное смертью тело?

И кто? Кто мог быть тогда в офисе?

Я представляю себе нашу уборщицу, Елену Ильиничну, маленькую, сутулую, с нелепой стрижкой почти горшком и крашенными хной волосами. Вижу, как она ведет меня в кабинет, а сама, волоча за собой пылесос, возвращается в студию. С трудом наклонившись, она выпрастывает из-под трупа руки тем же резким, мучительным движением, каким собирает брошенные на пол бумажки, и со вздохом защелкивает на них наручники...

Подхожу к офису рано, на площадке – ни одной машины, и цепочка следов по свежавыпавшему снегу не превратилась пока в тропу.

Кто-то стоит у подъезда: маленькая фигурка в коричневом не по сезону холодном пальто и черном платке. Она стоит, склонившись над узкой ступенькой подъезда, как вдовы стоят у открытых могил. Две тонкие темные линии перечеркивают снежную белизну ступени.

Хрустит лед под моей ногой, взлетает с забора испуганная галка. Женщина оборачивается на долю секунды, бросает на меня резкий, уккоризненный взгляд и бежит, огибая дом с другой стороны.

– Лариса! – кричу я вслед, но ее уже нет.

На ступенях крыльца, утопая в снегу, лежат две белые розы на тонких стеблях. Хочу поднять их, но не решаюсь нарушить печальную гармонию; обхожу, стараюсь, чтобы даже след мой не оскорбил красоты чужого горя.

В дверь звоню долго: охранник спит. Открывает мне красный, с отлежанной щекой, выдает ключи от кабинета.

Поднимаюсь наверх; у нас холодно. Окно открыто, на подоконнике – снег, на редакторском столе – крохотные лужицы крупным бисером. Кутаюсь в куртку, поднимаю воротник, жадно ловлю первые лучи восходящего солнца. Серые нити уходящих облаков окрашены золотом и розовой водой. Подо мною деревья и низкие крыши частных домов, темных, старых, бревенчатых, и на окнах у них – наличники. Возле каждого дома сад в два-три дерева и крохотный огород, и сейчас все – и деревья, и сарайчики, и бывшие грядки, и мусор, и ветошь – прикрито белым полупрозрачным снегом.

Дышится легко, черно-белые руки яблонь и слив поднимаются к небу, молят о солнце, я парю над ними, ветер в лицо, домики маленькие, и не видно людей – ни одного человека.

Вспоминаю Аришку: как она там? Леха, конечно, подвез. Вспоминаю Ларисика: хорошо, что жива, надо сказать Данке, вдруг и ее грызет эта мысль – жива ли Ларисик?

Вспоминаю Эдика: слава богу, он кому-то был нужен, и кто-то принес ему красивые цветы и помолился, склонив голову, и пусть – не там и не о том. Пусть. Главное, что помолился.

Я почему-то уверена, что жалкий Аришкин ухажер не пришел бы молиться на ступенях офиса. Он бы на них помочился.

С виду – одно: Ларисик и этот ухажер, два несчастных, больных человека. По сути – разное.

Аришка отстраняется, боится, гонит, зовет на помощь, тяготится. Я жалею ее, переживаю и немного больше – люблю.

Эдик – гордился. Он поглядывал на вас с превосходством, даже когда орал от бешенства, читая истеричные послания Ларисика на своем мобильнике: у вас, мол, такого нет. Нет такой любви, популярности, известности. У меня есть, меня знают. Вот я весь: в эфире, в экране, в ящике. Вот – народная любовь: мерзнет, ждет, мокнет под дождем, тает от единого взгляда.

Он был жалок мне в этой попытке утвердить свое мнимое превосходство. Маленький город, крохотный канал, микроскопическая знаменитость, до которой возможно дотянуться. Жалкая любовь, ограниченная рамками доступности. Сумасшествие в разумных пределах.

Такие разные – Аришка и Эдик. Жалею обоих – по-разному.

В кабинете появляется Данка.

– Холодно как! – говорит она, захлопывая окно. – Чего мерзнешь?

– Только пришла, не успела.

– Что у нас на сегодня?! – Она еще в шубе, но ежедневник открыт, и лист для списка сюжетов брошен на стол. – Нормальный день, – кивок головой, и Данка отправляется курить. В коридоре голоса: курильщики стекаются на балкон.

Я стою в куртке у закрытого окна.

Анечка болеет, я еду вместо нее в Законодательное собрание.

Коридоры, покрытые старыми ковравыми дорожками зеленого цвета с красными полосами по краям, деревянные панели стен болезненно-желтого цвета, под дуб. Строгие охранники, лоток с пирожками, разговоры, улыбки, пожатия рук. Места для прессы – последний ряд, но зал невелик, видно и слышно всегда

хорошо.

Сегодня – бюджет. Глава города здесь, напряжен и даже напуган. Ему хочется денег.

Заседание начинается. Пока решают процедурные вопросы, я расслаблена, и оператор спокоен. Вот он ходит меж рядов, то приближаясь ко мне, то удаляясь, но всегда связанный со мной тонкой ниточкой общего сюжета. Сегодня я с Сеней. Он – рыжий, с веснушками по белой коже, которая всегда отчего-то кажется мне липкой; он легко краснеет: от смущения, усталости или жары. У него длинные тонкие пальцы, одинаково легко гнущиеся во все стороны. Сенька сейчас в трех шагах от меня, его пальцы, выползая из-под фиксирующего ремешка, включают и выключают запись. Они уже красные, как дождевые черви. Я смотрю на них, и мне кажется, что красные дождевые черви хотят зарыться в черную камеру, как во влажную землю.

Посчитали явившихся-неявившихся, огласили повестку, поздравили с днем рождения губернаторскую замшу, и теперь с трибуны течет главный доклад по бюджету.

Мне не надо ничего говорить, я знаю: Сенька пишет. Штатив установлен, микрофон подключен, камера глядит на докладчика, сам Сенька – возле, смотрит по сторонам, время от времени – в видеоискатель, иногда – на меня. Я поднимаю в воздух руку, мой указательный палец чертит в воздухе дугу: «пишем». Сенька кивает. Ждет, когда я скрещу руки перед собой, и это будет означать, что синхрон окончен. Потом опять – дуга и крест, безотказно работающая система.

Мэр на трибуне. «Пишем-пишем-пишем», – машу я Сеньке. Главная интрига дня: удастся ли ему урвать еще кусок областного бюджета? Губернатор слушает расслабленно: тут хозяин он. Мэр, такой вальяжный вчера, в коридорах думы, здесь – дерганный и зависимый; поразительные различия. Ходят слухи, что губернатор съест его в конце концов. Уже маячит на горизонте уголовное дело... Мэр, говорят, совсем не слушается. Хотя что-то мне подсказывает, что уголовное дело не растет на пустом месте. Мне неприятно всех их видеть, находиться рядом с ними; сейчас я понимаю это особенно ясно.

В офисе спокойно. Девчонки – за компьютерами, Данка скучает у телефона: а что ей делать? Выпуск наполнен.

– Лиз, а когда у нас Тэфи-регион? – спрашивает Данка, разглядывая ногти.

– Не знаю, а что? – Лиза даже головы не поворачивает от монитора.

– Я думаю: давайте поучаствуем.

Надька коротко хмыкает, Данка задета.

– А что, – говорит она, – мы хуже других? Вот сегодня – нормальный выпуск.

– Говорящие головы, – шелестит Лиза. – Три заседалова подряд, ни одного живого человека.

– Зато на двух – скандал. Оксанка, был на Законодательном скандал?

– Был, – отвечаю я вяло. – Конечно, был.

– Нарядный?

– Нарядный. Орали здорово. Все.

Мой голос тягуч и вял: мне кажется, что я и скандал с криками и стуком по председательскому микрофону – в разных плоскостях. Собрание со скандалом проплывает мимо меня в прозрачной замкнутой сфере, я слышу нервные звуки, вижу круги вибраций, а мой шар – иной, и плывет он в иную сторону. Кто-то пускает мыльные пузыри, я и собрание – искаженные отражения, раскрашенные ядовитыми цветами мыльных бликов.

Девчонки делают вид, что пишут тексты. Я устало снимаю куртку. Кому какое дело до Тэфи? Данка обиженно поводит плечами и уходит курить.

– А почему не поучаствовать? Вдруг выиграем? – спрашиваю я и натываюсь на четыре пики: черные зрачки, два недовольных презрительных взгляда. – Все же

работают так. Нет?

– Нет. – Лиза печально качает головой. – Некоторые работают нормально. Но их мало.

– И мы – нормально. Мы же выкладываемся, девчонки! Мы же стараемся!

– Старания мало. – Лизин тихий голос удаляется, уходит внутрь нее. – Надо, чтобы кто-то кроме нас хотел, чтобы было хорошо. Данка, дирекция.

– А разве им все равно? Разве они не хотят?

– Нет, но у нас о «все равно» – разные понятия. Данке важно собрать выпуск «снаружи», чтобы сюжетов было больше трех, и чтобы хоть один был важным. Дирекции – чтобы губернатор остался доволен...

– Но как же? Вот смотри: если у тебя есть сюжет, и есть возможность быстро, как попало, его написать и пойти домой, или придумать что-нибудь «этакое», что ты выберешь? Я же знаю, ты будешь сидеть до последнего, лишь бы вышло лучше, потому что тебе не все равно! Ты ведь так и делаешь, Лиз! И я так делаю! Вот помнишь мой сюжет про коров?..

Лиза криво улыбается: я взвиваюсь от этой улыбки:

– Я могла бы написать, как в пресс-релизе, про головы и литры. Но я постаралась сделать что-то интересное!

Улыбка не стерта. Лиза странная, никак не могу ее понять.

– Что, Лиза? Что?!

– Оксан, я помню твоих коров, но...

– Плохо? – Что-то важное оседает во мне, как сугроб – за ночь февральской оттепели.

– Плохо.

– Почему? – задаю вопрос, сжав зубы. Я обижена и оскорблена, я раздавлена и уничтожена, но если не узнаю, в чем тут дело, если сделаю еще один сюжет, достойный лишь кривой улыбки, – умру.

– А почему – нет? – Лиза уже не улыбается, в чертах ее лица – крайнее напряжение, глаза прищурены, она вспоминает сюжет, хочет объяснить и помочь. – Оксана, скажи, кому интересно, что коровам будет тепло всю зиму? Кому это важно? Трем сердобольным девственницам климактерического возраста? Кому? Кому нужно это нытье про милых и славных коров? Никому. Никто не смотрел твой сюжет, кроме доярки, которая мелькнула в кадре на сороковой секунде. И точно так же никто не стал бы смотреть его, если бы ты просто переписала релиз.

– А что же делать? – растерянная, беспомощная, барахтаюсь в воде, а ноги никак не нащупают дна.

– Вариантов много. Можно написать, как ты и хотела, – про коров. Показать новый коровник и старый, сравнить, поговорить о прежних условиях с доярками. Картинка должна быть контрастной: этот – светлый и сверкающий, тот – с низкой крышей, загаженными стойлами, темный, с грязным сеном. Вот тогда люди вздохнули бы с облегчением: надо же, коровы выбрались из такого ужаса! Можно по-другому: спроси себя, стало ли лучше молоко? Как изменилось оборудование? Стало чище? Безопаснее? Ответь людям на вопрос, что они покупают в магазинах... Можно вообще пойти от парадокса: а стало ли лучше? Может быть, старый коровник был экологически чистым, а этот – нет? Может быть, теперь в молоко добавляют что-нибудь вредное – вот в этих огромных аппаратах? Что там в них происходит? Они нам на пользу или во вред? Вариантов много...

Медленно прихожу в себя. Все просто – когда тебе объяснят. Слетает шелуха, ядро – на ладони.

– А почему, – спрашиваю я Лизу, – ты сама так не делаешь?

– Как почему? – Она искренне удивлена. – Ведь просто же... Чтобы сделать такой сюжет, надо взять несколько запасных интервью у доярок, найти старый

коровник, поснимать, взять интервью у специалиста по всей этой технике, чтобы узнать, что там за штуки, приехать в офис, позвонить экологам, в санэпидстанцию и на молокозавод, куда привозят это молоко, а потом съездить к ним на интервью... А сколько времени обычно Данка дает тебе на съемки? Час – полтора. И не потому что стерва, а потому что на четверых – две машины и два оператора. Впрочем, – Лиза грустнеет и отворачивается от меня, – были у меня донкихотовские порывы. Делала я такие сюжеты.

– И что?

– Девчонки же первые и озлобились: пока я делала одно, им приходилось делать все остальное. А потом я и сама поняла: знаешь, сколько я в том месяце заработала?

– Сколько?

– Почти нисколько. Платят ведь не за качество, а за каждый сюжет поштучно, сама знаешь. Это роскошь – такие сюжеты. Я ее себе позволить не могу. Мне платить за съемную квартиру.

Сажусь к компьютеру. Сюжет не пишется. Скандал в мыльном пузыре уплыл куда-то совсем далеко.

7 декабря, среда

Телеканал – странное место. Тут шумно вечером, много людей утром, а днем – тишина. Студия отдыхает от эфира, в аквариуме аппаратной сонно запускает рекламные ролики видеоинженер. Диджеи безвылазно сидят у себя на радио, и только их быстрые тени пролетают по коридору на лестницу, когда заканчивается смена. «Новости» разъезжаются на съемки, прихватив с собой операторов, начальство появляется на этаже крайне редко.

Полдень, я уже сняла два сюжета. Иду по пустому коридору. У студии – полутьма. Останавливаюсь, чтобы вспомнить, зачем шла сюда, и не могу. Не хочу заходить просто так: до сих пор боюсь этого места. Передо мной, сразу за

дверью – крохотный предбанник. Взгляд упирается в вешалку, на которой сейчас одиноко болтается куртка видеоинженера, а по утрам и вечерам висит одежда приходящих на эфир гостей.

Слева и справа – тусклый свет, бормочут телевизоры, а мне чудятся тишина и темнота.

Делаю шаг назад, чувствую рукой живое и теплое и вскрикиваю от неожиданности.

– Это я, – спокойно говорит Аришка.

– А!

– Я тоже не могу, – продолжает она. – Не могу туда зайти, если не надо на эфир. И на эфире мне иногда кажется, что он лежит там, прямо передо мной...

– Ты тоже его видела?

– Нет. Но почему-то вижу, как он там лежит...

Аришка уходит. Слышу топот каблуков, шелест бумаги: в ее руках листы, с которых она только что читала новости на радио. Вижу серую мягкую спинку свитера и темные распущенные волосы. В те дни, когда у Аришки нет эфира на телевидении, она не забирает волосы в тугий пучок на затылке. Так она гораздо красивее.

Мы с Димой заканчиваем рано: четыре часа дня, свобода. Сидим в машине возле моего дома.

– Кто первым прибежал на мой крик?

– Я, – отвечает он.

– А где ты был?

– В туалете. Приехал в офис, собрал камеру, надел зимник, положил микрофон тебе на стол и решил сходить в туалет. Услышал крик, и... А что?

– Я не видела кофра с камерой у нас в кабинете.

– Он там был. Я задвинул его под стол, чтобы ты не споткнулась.

– Я его не помню. И что было дальше?

– Что дальше? Я увидел... Эдика, увел тебя в кабинет, позвонил в милицию.

– И все? Мы с тобой были там одни?

– А ты не помнишь? Не помнишь, как шла, как приехали милиция и «скорая», как тебе делали укол... не помнишь?

– Я не помню, Дима. Ничего. Почему-то.

– Уже пришла уборщица. Я ее в студию не пустил, побоялся, что ей станет плохо. Аришка появилась почти сразу.

– Аришка?

– Шла читать утренние новости на радио. Диджей – Серега с Егором... Потом – кто-то еще, я не помню. Почему ты спрашиваешь?

– Кто-то надел на него наручники.

Дима кивает.

– Ты их видел? Видел?

– Конечно, я их видел.

– Их не было, когда я зашла. Я не видела ни рук, ни наручников. Их не было.

– Они были, Оксанка, были точно! Это – первое, что я заметил! Откуда бы они появились, если почти сразу прибежали люди?

– Я не знаю, Дима, не знаю...

Он смотрит искренно и честно, словно и правда не мог увести меня в кабинет, а потом вернуться в студию и надеть для чего-то наручники на мертвое тело. В самом деле, для чего было надевать их после – так сильно после?

На душе легче. Я целую Диму, мы целуемся долго и сладко.

8 декабря, четверг

Не успев войти, сразу слышу от Данки:

– Коммуналку[8 - Коммуналка – жаргонное название сюжета, связанного с коммунальными проблемами.] сделаешь?

– Сделаю, конечно.

– Тогда бери Димку – и вперед. Дед уже обзвонился: волнуется, вдруг не приедем.

Старая пятиэтажка, ветхая крыша, с которой никто не счищает снег. В квартире на верхнем этаже течет с потолков ледяная талая вода.

Нас встречает дед, старый, но бодрый. У него умные глаза и военная осанка. Рядом – молчаливая жена, улыбчивая, невысокая и полная. Боясь упустить что-то важное, дед все время говорит, а она смотрит на него, ловит каждое слово, кивает и тихонько касается рукой его локтя.

– Я звонил и в ЖЭУ, и еще... Просил их, просил: чините крышу! Хоть снег счищайте, если не чините! Никто, ни один не приехал!

Обои в углу отходят пластом. Ржавые пятна по всей стене. Старый таз, звенящий от капли, вокруг – отсыревшие тряпки. В квартире бедно, но чисто, и если и пахнет старостью, то совсем слабо. Больше – стиральным порошком, мылом и молоком.

– Анна Ивановна моя простужается, в больнице уже лежала, сказали: бронхит от сырости, беречь ее надо. Я стал было сам лазить, так она не дает...

– Куда лазить?

– На крышу, с лопатой. Веревкой обвязывался да чистил. А она ругается, боится, что упаду. Одну ночь не спит, вторую... Все думает обо мне. А я выбирай: бронхит у нее будет или инфаркт. Что делать? Звоню... по инстанциям. На старости лет стал интриган! – Дед иронически подмигивает, но ясно, что ему не до смеха. – Вот скажи, дочка: стал бы я им звонить, если б не возраст? Ни за что! Сам бы давно уж сделал все, стоял бы домик, как новенький! С ними разговаривать – позориться только.

Жена бросает на деда ласковый и озабоченный взгляд, придвигается к нему еще ближе, молчит.

Он не смотрит на нее, хотя слепому ясно, что каким-то другим зрением замечает каждый ее взгляд и, наверное, хранит где-то внутри себя, как хранит в старом комоде ордена в особой, перевязанной ленточкой, коробке.

Наверное, ему было страшно на старой крутой крыше, обнесенной тонкими железными перилами. Я с трудом могу представить там, наверху, его старческую фигуру, скованные возрастом и толстым ватником движения и то, как он подцепляет лопатой и скидывает вниз пласты отсыревшего снега.

Сразу после коммуналки я еду на заседание в областной администрации, но дед и его жена стоят у меня перед глазами.

– Давай, пиши скорее, – торопит Данка, когда я появляюсь в офисе с двумя отснятыми сюжетами.

Я не могу писать: нужно что-то сделать. Подсаживаюсь к телефону.

- Пиши, тебе говорят. – Данка смотрит на меня в упор. – Нечего болтать.
- Я не болтать. Я в ЖЭУ, по поводу деда.
- А что они тебе скажут? Чего ты от них не слышала?
- Мы должны выслушивать обе стороны, разве нет?
- Камеру не дам! У меня весь день расписан. Да и некогда тебе уже будет ехать.
- Мне нужен просто комментарий, устный, по телефону.
- Ладно, звони. – Данка равнодушно пожимает плечами и уходит курить.

В кабинете пусто. Надька – в кулинарии, Лиза и Анечка – на съемках.

- Здравствуйте, – говорю я, представляюсь и называю дедов адрес. – Мы там сегодня были. Вы знакомы с этой проблемой?
- Нет. А что там у них?
- У них течет крыша.
- А сейчас-то что? Дождей нет...
- Дождей нет, но тает снег.
- Почему это он тает? Минус на улице. Нигде не тает, а у них – тает.
- У них – тает. Приезжайте и посмотрите: капает с потолка.
- Может, соседи заливают?
- Пятый этаж пятиэтажки! Какие соседи? Ледяная вода льет в квартиру к двум старикам!

– И что вы хотите от меня?

– Чтобы вы залатали крышу или хотя бы счистили снег!

– Прямо сейчас? – Он издевается надо мной, посмеивается и, возможно, слушая мои слова, рисует на полях ненужного документа каких-нибудь чертиков. Я срываюсь:

– То есть вы готовы взять на себя ответственность за их смерть? Я правильно понимаю? – Мне уже все равно, что говорить.

– За чью?

– Там два старика! Совсем старых старика, и женщина только что поправилась от бронхита! А к ним в комнату льет ледяная вода...

Он молчит. Не слова о смерти, а что-то другое, что-то в моем голосе, в интонациях и силе, с какой я произношу слова, заставляет его задуматься.

– Девушка, – начинает он осторожно, – простите, забыл, как вас зовут...

– Оксана.

– Оксана, вы понимаете, какое дело... Там не в крыше дело и не в снеге, я знаю этот дом. Не первый же год здесь работаю.

– Так в чем же?

– Он таким образом повернут, этот дом, так стоит, что сильный ветер загоняет снег на чердак, и там он тает и течет вниз, понимаете? Такая конструктивная особенность здания, архитектор не учел...

– Какая чушь!!!

Мой оппонент на том конце провода замирает. Я кричу на него, как кричит на показательных заседаниях премьер-министр. Эффект так силен, что начальник ЖЭУ

не смеет даже бросить трубку.

– Там рядом, – говорю я, и издевка уже в моем голосе, – точно такой же дом, точно так же повернутый к ветру, с точно такой же крышей, построенный в том же году, но в нем ничего не течет.

– А вы точно знаете? – Он интересуется осторожно, почти заискивающе.

– Точно, – уверенно вру я. – Так что?

– Будем разбираться. – Он отвечает вяло, и я уже не уверена, что победила.

9 декабря, пятница

Утро. В кабинете – никого, только Данкина сумка стоит на стуле. Телефон звонит, я слышу это еще из коридора. Беру трубку.

– Алле, – старческий голос, бодрый, радостный. – Здравствуй, дочка! Мне бы Оксану.

– Я слушаю.

– Оксана, дочка, ведь чистят!

– Что?!

– Крышу мне чистят!

Я понимаю, кто это, и радость захлестывает меня: большая, огромная, до эйфории:

– Правда?! Господи, как хорошо!

– С утра приехали: две машины, Оксаночка! Две! Начальник сам приехал, с ним еще человека три – в шапках! Стоят, на крышу нашу смотрят, шапки руками держат, чтоб не свалились! Рабочие чистят, лед скалывают, грохочут!

– Я так за вас рада!

– Оксаночка, спасибо вам! Спасибо, дочка! Дай тебе Бог здоровья!

В коридоре встречаю Диму. Никого больше нет, и он наклоняется меня поцеловать.

– Димка, – шепчу я ему после поцелуя, – нашему вчерашнему деду чистят крышу... – и молчу.

Дима тоже молчит, но улыбается в ответ – счастливо и радостно.

Я думаю и думаю про этого деда. Только бы им подлатали крышу! Только бы не забыли! Только бы... Только бы...

Я вспоминаю счастливые глаза Димы, радостное недоверие новостийных девчонок, Аришку, которая тоже слышала эту волшебную сказку. А я ведь подозревала их всех: и Диму, и Аришку, и тихую Лизу, и громкую Надьку, и милую добрую Анечку – всех! Знать бы кто. Знать бы – кто, и спокойно работать с людьми, не оглядываясь, не толкуя жест, взгляд, слово. Понимаю, что последние дни живу с этой мерзкой оглядкой, подозреваю всех и каждого, вздрагиваю, сталкиваясь с кем-то один на один, представляю каждого в роли убийцы: с наручниками, толкающим камеру вперед и вниз, на беззащитную шею скованного Эдика.

Так нельзя жить, просто нельзя. Тогда уж лучше уволиться, чтобы не марать полсотни невинных людей дикими и мерзкими подозрениями. Можно, правда, как Дима, верить, что это – не свои, но...

Но фирмы «Стальные двери» и «Фитодизайн», которые делят с нами подъезд офисного здания, уже в пять вечера запираются на мощные замки, и в тот четверг они тоже были закрыты. Я спускалась на второй этаж, в рекламу, и видела обеих хозяек. «Стальные двери» морщилась, упираясь тоненьким

плечиком в тяжелую дверь, и с усилием поворачивала в замке ключ, «Фитодизайн» бросила ключи в сумочку и стала спускаться вниз, балансируя на высоких каблуках.

Внизу – дверь с домофоном. Димка неправ, никто никогда не подпирает ее брусом, я бы хоть раз да увидела. А я не видела. Охранник открывает дверь только по звонку. А если он уходит в туалет, то в офис никак не попасть.

Я не хочу сдаваться, а значит – мне надо узнать.

13 декабря, вторник

Короткая неделя: вчера отмечали День Конституции, Надья дежурила, снимала сюжет про всякие официальные праздники. Вчера ей было плохо: работать, когда все отдыхают. Сегодня – хорошо: быстренько все напишет и уйдет домой. И оплата двойная.

Собираюсь спросить у Данки, что у меня сегодня за сюжет, как вдруг открывается дверь. Лиза, которая первой видит входящего, первой же и замирает. Мы, узнав Лапулю, замираем тоже.

Она входит, здоровается сухо и сдержанно, садится на стул прямо посреди кабинета. Одета в черное, не накрашена, губы поджаты, лицо мертво, без эмоций, без выражения: застывшая маска. Под левым глазом, замазанный тональным кремом, засыпанный пудрой – слабый, желто-зеленый след от синяка.

– Дана, – просительно тянет она, – я бы хотела взять вещи, его вещи...

– Конечно, – Данка вскакивает, – вот – чашка его, блокнот, ручки... Что еще?

Данка трет пальцами лоб, вспоминает, крутится на месте, оглядывая кабинет.

– Ты как? – спрашивает Данка, когда ее взгляд вдруг останавливается на Лапуле.

– Нормально, – вдова обреченно кивает головой. – Спасибо.

– За что?

– Как?.. За участие.

Все молчат.

– Вещи, – напоминает Лапуля.

– Ах да!

Данка приносит ей чашку, блокнот, черный паркер без стержня.

– Все, – говорит она.

– Дана, – Лапуля почти не смотрит на все эти мелочи, – а может быть...

Кажется, ей стыдно попросить.

– А может быть, – продолжает она, – ты дашь мне его рабочую кассету?

– Кассету? – Данка растеряна. – Зачем тебе кассета?

– Я понимаю, что у вас их мало, что они что-то стоят, но я заплачу, Дан. Просто там голос, он задавал вопросы и, может быть, попал где-то в кадр... Я заплачу, сколько надо.

– Оль, – Данка подсаживается к ней, – да какие деньги, брось! Я бы дала, но не знаю, где она. Правда. Эдик же в борсетке носил, да?

Лапуля кивает.

– Борсетку забрали – милиция.

– А может быть, есть другие кассеты? Ты не находила?

– Нет, не находила. Оль, прости. Если найду что-то, обязательно тебе позвоню.

– Ладно. Ну... пока тогда?

– Пока.

Мы отворачиваемся: неловко смотреть, как она запихивает в сумку старую кружку в коричневых потеках застывшей заварки.

В коридоре становится шумно: кто-то громко и дико смеется. Толчком ноги распахивается и бьет о стену наша дверь. Входит Юрий Цезарь – диджей и директор радио.

– Че?! – орет он с порога. – Сахар есть?!

Цезарь идет через кабинет прямо к ящику, в котором мы храним заварку и сахар, и выдвигает его так резко, что ящик едва не вылетает из стола.

– Юр, ну ты совсем обнаглел! – Данка разводит руками.

– А че?! – Он разгибается, поворачивается, и тут видит Лапулю: – О! Привет...

Даже хам Цезарь при виде вдовы каменеет.

– Я пошла, – тихо говорит она и уходит.

– Ни хрена се! – тянет Цезарь вполголоса и выковыривает из коробки несколько кусочков сахара. – И фингал! Хорошо ее Малышева, я не ожидал: мелкая она такая. – Это Малышева ее? – Данка соображает первая. – Юр, правда Малышева? Когда?

– Да в тот четверг.

– Это когда Эдика?!

– Ну да, мать, я и говорю.

И Юрка рассказывает.

Это было в четверг, во время прямого эфира.

Гость ушел в студию, и только его охранник стоял в коридоре возле туалета, переминаясь с ноги на ногу. Со своего места охранник видел стеклянные двери балкона и – за углом – дверь в студию. Данка, уходящая домой, позвала его подождать в кабинете новостей, но он отрицательно покачал головой. Данка засмеялась и ушла.

Цезарь вышел покурить. Охранник посторонился, пропуская его, и снова вернулся на место. На балконе Цезарь увидел Малышеву: та стояла, прислонившись к стене, накинув на плечи короткую меховую куртку. Внизу, на деревьях, на крышах домов искрился, отражая огни городских фонарей, снег.

– Че, мать, домой не идешь? – спросил Цезарь.

– Да так. Волкова жду.

– Этого, что ли? – Цезарь махнул головой в сторону студии и выпустил изо рта плотную струю дыма. – Депутана? Зачем?

– А! – Малышева махнула рукой, и пепел, слетая с сигареты, посыпался на утопанный курильщиками снег. – Надо позвать его в передачу, он не хочет...

– Вот скотина! – Цезарь заржал.

– Точно, – и Малышева медленно затянулась.

Цезарь быстро выкурил свою сигарету и скептически посмотрел на то, как Малышева достает из пачки вторую.

Только он вышел с балкона, как открылась дверь, ведущая с лестницы, и в коридор вошла Лапуля. Цезарь поднял в приветствии руку и, обогнув охранника, скрылся в туалете.

Малышева выглянула с балкона в коридор и нехотя махнула Лапуле.

– Сигаретка есть? – настороженно поглядывая на охранника, спросила та. Малышева махнула пачкой.

Когда Цезарь вышел из туалета, разговор на балконе шел на повышенных тонах. Женщины что-то кричали, рукав Лапулиной шубы чертил по двери, и рыжие ворсинки прилипали к влажному стеклу.

Цезарь не ушел, ему хотелось посмотреть.

Раздался резкий визг, и черная Лапулина сумочка, громко стукнув о стекло балконной двери, вылетела в коридор. Что-то хрустнуло и зазвенело, и обе женщины выкатились в коридор.

– Ни хрена себе! – крикнул восхищенный Цезарь: драка была фантасмагоричной. Маленькую, худую Малышеву было трудно рассмотреть в объятиях высокой и крупной Лапули. Только черная косая челка мелькала иногда среди рыжего меха шубы и желтых Лапулиных волос.

Лапуля всегда хорошо смотрелась рядом с высоким, ярко-черным Эдиком, они оба были неторопливы, вальяжны и склонны к полноте. Однако, несмотря на рост, Лапуля проигрывала Малышевой: резкой, решительной, острой, готовой к драке. Малышева побеждала, она хотела сделать сопернице больно, и это у нее получалось. Лапуля взвизгивала от страха, теряла клоками волосы, уворачивалась от острых ногтей, пытаясь уберечь лицо. Малышева дралась молча.

Охранник Волкова очнулся первым. Он схватил Малышеву за шею и, слегка придушив, отбросил в сторону. Вырвавшись, Лапуля взвизгнула и бросилась к выходу.

Малышева встала и пошла вверх по лестнице к себе, на четвертый этаж. Пошла так, словно никто не дрался, а просто на балконе была выкурена пара сигарет.

Цезарь уходит, а все продолжают молчать, словно он все еще рассказывает свою короткую байку. – Почему? – спрашиваю я у компьютера.

– Узнали, – отвечает своему компьютеру Надька.

– Точно: узнали, – Данка кивает снежинкам за окном.

– О чем? – спрашиваю я, и Данка поворачивается ко мне.

– О том, что... – тянет она, – что спали с одним мужчиной.

– С Эдиком?! – Моему изумлению нет предела. Мне всегда казалось, что он слегка завидует Малышевой должности, тому, что она была маленьким, но более высоким, чем Эдик, начальством. Ему, конечно, тоже хотелось получить приставку «главный».

– Нет, почему с Эдиком? С Виталем.

Я молчу. Что я могу сказать? Я никогда не вижу таких вещей и всегда неприятно им удивляюсь.

– Как они могли узнать? – спрашиваю я чуть погодя.

– Как, как! – отмахивается Данка. – Стояли, курили, разговаривали: вот и договорились. Случайно, как еще? Никто из них, наверное, и подумать не мог. А Виталь Малышевой днем еще и денег не дал. Она мне жаловалась – чуть не плакала.

– Денег? На что?

– Она хотела ехать за границу на Новый год, ей не хватало, как всегда... Обычно он давал, а тут... Наверное, собирался ее бросить...

– Как это грустно.

Дима сегодня эфирит,[9 - Эфирит – работает на программе, которая идет в прямом эфире (жаргон).] нет никаких сил его дожидаться.

– Я пошла, пока! – На секунду мое лицо появляется в ярко освещенной студии, где пристегнутая к петличке Малышева уже расправила сутулые плечи, ожидая, когда включится камера. Дима кивает, машет мне рукой и склоняется к видеоискателю, проверяя, хорошо ли выстроен кадр.

Иду по темному коридору: нет привычного гула голосов, легкого шума, который возникает от одного только молчаливого присутствия многих людей; через прикрытую балконную дверь льется в офис ночная тишина, и только в спину мне – свист новостийной заставки. Она не нарушает тишины, она – отдельно, в том ярком мире, к которому я не имею отношения. Я словно рыба: рожаю сюжет, как икринку, и наплевать, что будет с ним дальше и как он проживет свою жизнь там, на экране, на мониторах в ярко освещенной студии. Так не должно быть, мне не должно быть все равно, но так есть: маленький телеканал – конвейер, поток, бесконечный нерест... Рыба сошла бы с ума от любви к миллиону икринок.

Данка выходит из кабинета, бросает на плечо ремень своей сумки.

– Домой?

Киваю.

– В центр?

Киваю снова.

– Ну пошли.

Мы редко совпадаем: всегда уходим в разное время, но когда все-таки идем домой вместе, мне неловко. Не знаю, о чем с ней говорить.

На лестнице шепчу, опасаясь, что секрет сбежит в другие кабинеты:

– Дана, ты думаешь, что синяк и правда – Малышева? Разве может такое быть?

Данка решительна и деловита как всегда:

– Сейчас узнаем, – говорит она и заглядывает в окошечко охранника: он сидит в крохотной комнатенке под лестницей и через два окошка – вперед и вправо, к ступенькам – следит за входящими. – Пока-пока!..

– А-а! Красавица! – Пожилой дядька-охранник расплывается в довольной улыбке и совсем не смотрит на меня. – Устала?

– Да-а... – жалобно тянет Данка. – О-очень...

– Ну, а что еще скажешь? – Дядьке скучно, ему все равно, о чем болтать.

– А правда, – спрашивает Данка, – что в позапрошлый четверг тут драка была?

– Когда? В позапрошлый? Это когда вашего этого – того?

– Ага.

– Драка?

– Ага.

– А во сколько?

– Вечером, когда шел эфир, примерно в половине восьмого.

Охранник с сомнением пожимает плечами:

– Не знаю. Я дежурил – драки не было. А кто говорит? Кто дрался?

– Цезарь говорит. – Данка наваливается на окошко охранника грудью и глупо хихикает: довольна тем, что нравится мужчине, до которого никогда в жизни не снизойдет. – Говорит, что Малышева подралась с Эдиковой Ольгой.

– С женой?

– Ага.

– Белая такая? Дылда?

– Ага. В рыжей шубке. В короткой.

– Видел ее в четверг, – соглашается охранник. – Драка, говоришь? А я думал, чего она так выскочила? Как бешеная: шась с лестницы!

– Говорят, Малышева ее помяла! Говорят, поставила синяк на пол-лица.

– Врут. Видел я ее – не было синяка.

– Да не увидел...

– Как: не увидел? Она же вот тут, как ты, стояла, шубу застегивала, то-се. Чистое было лицо, без синяков. Я бы спросил: я же охрана.

– Может, – говорит Данка, и в ее голосе растерянность и сомнение, – он еще не успел проявиться?

– Тю! – Охранник смеется. – А то я не знаю! Куда его спрячешь, если он есть?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Бетакам, бета, эсписка – жаргонное название форматов профессиональных видеокамер BETACAM, BETACAM SP.

2

Петля – жаргонное название петлички, маленького микрофона, который крепится на одежду.

3

Синхрон – отрывок записанного на камеру интервью, который потом войдет в сюжет.

4

Подводка – часть текста, которую ведущий произносит перед сюжетом.

5

Таймлайн – часть программы нелинейного (компьютерного) монтажа, выглядит как лента, на которую «бросают» отрезки видео и звуковых файлов.

6

Прессуха – пресс-конференция.

7

Исходник – исходный, еще не смонтированный видеоряд.

8

Коммуналка – жаргонное название сюжета, связанного с коммунальными проблемами.

9

Эфирит – работает на программе, которая идет в прямом эфире (жаргон).

Купить: https://telnovel.com/ru/lebedeva_natal-ya/skleyki

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)